

Слово против слова

Голос с того света

Остросюжетный роман

Елена Копс

18+

Елена Копс

**Слово против слова.
Голос с того света.**

«Автор»

2026

Копс Е.

Слово против слова. Голос с того света. / Е. Копс — «Автор», 2026

Она привыкла верить цифрам и фактам, а не призракам прошлого. Но когда в руки независимого лингвиста Веры Лисовской попадают улики — идеальная картина прошлого рушится. Человек, чью гибель в шторме она оплакивала пятнадцать лет, не просто жив. Он стал бестелесным голосом в тени опаснейшего средиземноморского синдиката. Расследование увлекает Веру из промозглого Балтийского Зееграда в узкие, запутанные каруджи Генуи. На этом пути каждое сказанное слово имеет свою цену, а правда способна разрушить всё, чем она дорожила. Чтобы докопаться до истины, Вере придется сделать выбор между прошлым своего отца и будущим с человеком, который привык решать всё силовым путем. «Голос с того света» — остросюжетный психологический детектив и вторая книга захватывающей трилогии «Слово против слова» (первая часть — «Переводчица»). История о семейных тайнах, предательстве и силе языка, где молчание иногда оказывается опаснее лжи.

© Копс Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	17
Глава 4	23
Глава 5	28
Глава 6	33
Глава 7	38
Глава 8	43
Глава 9	47
Глава 10	52
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Елена Копс

Слово против слова. Голос с того света.

Записи А. Л. Генуя, ноябрь 2011

14.11, 07:40. Бар под аркадами Сотторипы, третий столик от двери, тот, у которого качается ножка и под неё подложена сложенная вчетверо картонка от сигарет. Кофе здесь горький, густой, как мазут, сахар кладут, не спрашивая, две ложки, и размешивают за тебя. Над стойкой висит выцветшая фотография какого-то парохода, белого, с двумя трубами, и под ней засохшая ветка оливы. Бармен второй день интересуется, откуда я. Сказал, что из Триеста, он кивнул, хотя по лицу было видно, что не поверил. В Генуе не принято переспрашивать, за это я её когда-то и полюбил.

Под аркадами ещё темно. Торговцы рыбой выкладывают на лёд утренний улов, и лёд скрипит под их руками, и пахнет морем, мокрым камнем и жареным маслом из фриттерии напротив, которая открывается раньше всех. Кто-то ругается по-генуэзски, длинно, без злости, как здесь ругаются по утрам, чтобы разогреть голос.

Вчерашние переговоры: 19:10 – 23:55. Две стороны, один переводчик, никакой записи. Записывал я, по привычке, в эту тетрадь, потом понял, что этого делать нельзя, и всё равно не остановился. Рука сама пишет, двадцать два года пишет, ей не объяснишь. Цифры оставлю. Слова вырву.

Тот, кто переводит, не имеет права на собственный голос. Его работа – чтобы люди слышали друг друга, а его самого как будто нет в комнате. Он стул у стены, графин с водой, сквозняк из окна. Двадцать два года я это соблюдал. Сегодня я нарушил это правило и поэтому сегодня умру.

Нарушил я его одной фразой. По-генуэзски, в коридоре, у окна, где пахло чужими сигаретами, человеку, которому нельзя было ничего говорить. Он был совсем мальчишка, весёлый, с вихром на затылке. Он сказал «grazie» и пожал мне руку, а я видел, как на это посмотрели из-за стеклянной двери.

Буквально я, наверное, ещё поживу. Мне ночью вполне доходчиво объяснили, что вариантов два и что второй удобнее для всех, включая Люду. Я пока не согласился, но моё согласие тут, кажется, никого не интересует.

Верине четырнадцать. В Зееграде сейчас на час больше, у неё третий урок, по понедельникам это физика, она её не любит, потому что учительница говорит «ложит». Вчера пришло сообщение: «пап, привези магнит с маяком, только не уродский». Я купил открытку с Лантерной. Магниты тут все уродские, она была права. Я обошёл все киоски у порта и в каждом стоял одинаковый пластиковый маяк с глазами и улыбкой.

Если со мной что-то случится, ей расскажут красивую версию. Красивые версии хорошо запоминаются и ничего не объясняют. Пусть она запомнит меня по цифрам. Я её научил, она с ними обращается лучше, чем я в её годы, и злится, когда я округляю.

За окном начинает сереть. Над аркадами, в узкой полоске неба между крышами, кричат чайки.

08:15. Расплатился. Бармен сказал «ciao, triestino» и подмигнул. Открытку не отправлю.

Глава 1

Riconoscere (ит.) – узнавать. Однокоренное с conoscere, «знать». Приставка ri- значит «снова». А. Л.

Ниже карандашом, вчерашнее: «Снова – это хуже, чем в первый раз».

В зал №3 я пришла без двадцати девять, хотя заседание назначили на десять. Дома сидеть было невозможно. Квартира у Верхнего канала за ночь стала тесной, и каждый предмет в ней, коробки, словари, чашка с недопитым чаем на подоконнике, смотрел на меня так, будто чего-то ждал. За ночь я три раза распечатывала заключение, два первых варианта порвала и выбросила в ведро под кофейную гущу, третий лежал в папке, и я его больше не открывала, потому что помнила каждую запятую.

Областной суд стоит на набережной, старое здание из тёмного кирпича, с высокими окнами и чугунной оградой, у которой в марте всегда лежат грязные сугробы, и голуби сидят на карнизах, нахохлившись. Пристав Коля, который в ноябре видел меня здесь беглой подозреваемой, а в декабре свидетелем защиты, открыл мне дверь и сказал:

– Лисовская, вам тут скоро именную скамейку поставят.

– Лучше вешалку, – сказала я. – Скамейки у вас и так нормальные, а пальто девать некуда.

Он засмеялся. Я прошла к окну. Канал за стеклом был серый, тяжёлый, неподвижный, у берега так и лежали куски льда, которые за ночь не растаяли, с рваными краями, грязно-белые. На одном сидела чайка и смотрела в воду с таким видом, будто ей там кто-то должен. Небо над крышами на той стороне висело низко, ровное, без единого просвета, и свет от него шёл какой-то рассеянный, усталый, мартовский, который не отбрасывает теней. На спинках скамеек сохли чужие пальто, пахло мокрой шерстью и растворимым кофе из автомата на первом этаже. В марте областной суд пахнет одинаково, сколько бы прокуроров в нём ни арестовали.

Я села на крайнюю скамью, достала ручку и поняла, что щёлкаю колпачком, только когда женщина из пресс-службы обернулась ко мне через два ряда.

Наушники я вчера сняла около половины десятого вечера. Потом долго сидела на кухне, не включая свет, и смотрела на телефон. За окном на канале горели фонари, их свет дрожал в чёрной воде длинными жёлтыми полосами, и иногда по мосту проезжала машина, и по потолку моей кухни медленно проползало светлое пятно и исчезало в углу. На экране висела одна строчка с номера, который начинался на +39. Я её не удалила и не ответила. Где-то после двух ночи я поняла, что сидеть дальше бессмысленно, включила лампу и стала переписывать заключение. И тут выяснилась странная вещь: врать мне не пришлось ни разу.

Запись смонтирована. Правда. Длительность фонограммы пятьдесят восемь минут при фактической длительности допроса час сорок две, что подтверждается моим рабочим дневником и журналом видеофиксации. Тоже правда. Гудок паромы искусственно сдвинут, на фоне спорной фразы пять ударов соборного колокола, хотя допрос закончился без тринадцати четыре, – это я говорила ещё в декабре, только теперь у меня были спектрограммы, и выглядело это солиднее. Голос принадлежит носителю лигурийского варианта итальянского языка, мужчине в возрасте от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти лет, с признаками многолетнего курения. Возраст и курение я оставила, хотя минут двадцать сидела над этой строкой с карандашом, и лампа гудела, и за окном проехал первый утренний трамвай, пустой и освещённый изнутри. Вычеркнуть их значило бы соврать по факту, а по факту я не вру.

На сороковой минуте, в месте склейки, за кадром есть короткая реплика из двух слов. Я написала: «на исходном файле разборчивость низкая». Это тоже правда. На исходном файле её почти не слышно. Её слышно, если прогнать звук через фильтры, которые я купила себе в феврале на гонорар за арбитраж, и если знать, что ищешь.

Последний пункт занял у меня время до пяти утра. «Сравнительные образцы голоса в распоряжение специалиста не представлены. Установить личность говорящего не представляется возможным».

Образцов мне правда никто не представлял. В материалах дела их нет. Есть у меня в голове, пятнадцатилетней давности, вместе с тем, как он кашлял по утрам на балконе, в старом свитере, с чашкой в одной руке и сигаретой в другой, и как пар от кофе и дым поднимались вместе и смешивались в холодном воздухе, и как он говорил «Верина», растягивая «и», будто проверял, откликнусь ли я. Но голова к делу не приобщается.

Девять лет в судах Зееграда меня называли «та, кого не уговоришь смягчить». Я этим гордилась, честно говоря, больше, чем дипломом. А сегодня я пришла с документом, в котором нет ни одного неверного слова, и знала, что за такой документ сама отвела бы любого эксперта от дела. Если бы узнала.

Эльвира появилась в девять двадцать, в сером костюме, с папкой под мышкой и зажигалкой, которую крутила в пальцах, потому что курить в здании ей не давали уже лет пятнадцать. Села рядом, посмотрела на меня сбоку.

– Не спала?

– Спала.

– Ну-ну, – сказала Эльвира и больше ничего не спросила. От неё пахло табаком и мятными леденцами, которыми она этот табак безуспешно заедала. – Мальчик мой внизу, с собакой. Я ему сказала, что если он войдёт в зал, Ветров за десять минут сделает из процесса над Шмелёвым процесс над Раевским. Обиделся. Сидит на ступеньках, как школьник.

– Он не обидчивый.

– Он стал обидчивый, когда влюбился, – сказала Эльвира. – Это у всех так. Проходит лет через двадцать.

Зал понемногу наполнялся. Журналисты с камерами на задних скамьях, какие-то люди из прокуратуры, двое молодых в форме, которые всё время смотрели в телефоны. Лампы под потолком горели белым, плоским светом, и от него у всех были одинаково серые лица. Судью прислали из другого округа, чтобы никто потом не сказал, что Шмелёва судили его же люди. Ляхов был пожилой, сухой, с тяжёлыми веками, говорил тихо и так, что переспрашивать не хотелось. Обвинение поддерживал прокурор из Москвы, молодой, в очень хорошо сидящем кителе, он всё время что-то подчёркивал в своих бумагах жёлтым маркером. Ветров, адвокат Шмелёва, был, наоборот, местный, грузный, в мятом пиджаке, и я помнила его по паре старых дел: он никогда не повышал голос и почти никогда не проигрывал по процедуре.

Шмелёва ввели в «аквариум» в девять пятьдесят восемь. Я записала время в дневник, это у меня уже как дыхание. За три месяца он похудел, тёмный костюм висел на плечах, галстука не было, седые волосы были аккуратно причёсаны, наверное, жена передала расчёску. Стекло «аквариума» отражало лампы, и лицо его за ними плыло. Он сел, поправил манжеты и нашёл меня глазами сразу, как будто знал, где я буду сидеть. Кивнул. Тем самым кивком, каким кивал мне через стол на даче, когда его жена ставила пирог с капустой и говорила «Верочка, бери, пока горячий», и в окно веранды било летнее солнце, и пахло яблоками и нагретым деревом.

Я кивнула в ответ. Не знаю зачем. Кивнула раньше, чем успела решить, надо ли.

Меня вызвали в одиннадцать ноль пять, после двух свидетелей из таможни, которые путались в датах так, что прокурор из Москвы дважды поднимал маркер и дважды клал его обратно. Секретарь разъяснила мне права специалиста. Потом я расписалась в подписке о том, что предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Ручка была казённая, на верёвочке, привязанной к ножке стола, как на почте. Четыре месяца назад меня собирались судить почти по соседней статье, и я подумала, что у судьбы плохой вкус, раз она подсовывает мне именно эту ручку.

Читала я двадцать шесть минут. Голос у меня был ровный, я это слышала со стороны, как слышу всегда, когда работаю: чужим ухом, с небольшой задержкой, как будто между мной и моим голосом стоит тонкое стекло. Склейки, длительность, гудок, колокол, лигурийские черты в фонетике, «samallo», которого неаполитанец никогда бы не сказал. Прокурор подчёркивал. Ветров смотрел в стол. Ляхов один раз попросил повторить цифры по длительности и записал их сам, от руки, что мне в нём сразу понравилось.

Когда я дошла до последнего пункта, в зале было тихо, слышно было, как гудят лампы под потолком и как за окном, на канале, кричит та самая чайка со льдины.

– Сравнительные образцы голоса в распоряжение специалиста не представлены, – прочитала я. – Установить личность говорящего не представляется возможным.

Я закрыла папку. Руки не дрожали, я специально посмотрела.

Прокурор задал три вопроса, все по делу, все про монтаж, и я ответила на них так же сухо, как он спрашивал. Потом поднялся Ветров. Встал он тяжело, опираясь ладонью о стол.

– Вера Андреевна, вы утверждаете, что голос на записи не принадлежит Луке Ферраре.

– Утверждаю.

– Но чей он, вы сказать не можете.

– Без сравнительных образцов – нет.

– То есть это мог быть любой человек, владеющий итальянским, – Ветров сказал это не вопросом, а так, будто зачитывал вслух уже готовую строчку из жалобы.

– Не любой, – сказала я. – Носитель лигурийского варианта, мужчина от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти лет, долго куривший. В Зееграде таких людей немного.

– Сколько?

– Это вопрос не к лингвисту.

Кто-то из журналистов на задней скамье хмыкнул. Ветров посмотрел на меня поверх очков, совсем недолго, и сказал, что вопросов больше не имеет.

И тогда я посмотрела в «аквариум», хотя до этого двадцать шесть минут старалась туда не смотреть.

Шмелёв улыбался. Одними губами, глаза в этом не участвовали, глаза у него были спокойные и внимательные, как у человека, который слушал прогноз погоды и услышал, что дождь будет, как он и думал. Он понял. Я не знаю, по чему именно, по паузе перед «не представляется», по тому, что я ни разу не подняла глаз от листа, или просто потому, что знал меня с пелёнок и видел, как я вру в семь лет про разбитую чашку, стоя посреди его кухни в слишком больших тапках и глядя в одну точку на обоях. Но он понял, что я узнала голос, и понял, что я об этом промолчала.

Осенью, у себя в прихожей, подавая мне пальто, он сказал: «Андрей бы тобой гордился... как никто». В декабре, когда его выводили из этого зала в наручниках, добавил вполголоса, что папа в Генуе тоже слишком хорошо всё слышал. Обе фразы я тогда сложила в папку «угрозы» и закрыла. Сейчас они звучали по-другому, и мне это не понравилось ещё больше.

Перерыв объявили в двенадцать сорок. Я записала время.

В коридоре Эльвира поймала меня за локоть у окна и некоторое время молча смотрела, крутя зажигалку. За её спиной в окне был виден двор суда, мокрый, в серых проталинах, и старая липа с чёрными голыми ветками, на которых висели капли.

– Хорошее заключение, – сказала она наконец. – Сухое, как я люблю. Только ты его читала так, будто это некролог.

– Я всегда так читаю.

– Нет, дорогая. Обычно ты читаешь так, будто это чужой некролог.

Я сказала, что не выпалась, и ушла за пальто раньше, чем она придумала следующую фразу.

На выходе толклись журналисты, человек десять, с камерами и без. Кто-то спросил, правда ли, что Шмелёв будет требовать новую экспертизу, кто-то сунул мне под нос диктофон, кто-то наступил на ногу. Я прижала к себе сумку и протиснулась боком к дверям. Наружный карман сумки я никогда не застёгиваю, Даша говорила мне это раз сто, и раз сто я обещала исправиться.

На улице было сыро и светло, как бывает в марте после ночного снега, который к обеду уже превратился в кашу. Снег лежал на перилах набережной тонким мокрым слоем, на крышах машин, на чугунных завитках ограды, и всё это таяло, капало, текло, и воздух был полон этого тихого звука. Марк сидел на гранитных ступенях, на самой нижней, в тёмной куртке, с бумажным стаканчиком в руке. Бруно сидел рядом, огромный и чёрный, и прохожие обходили их по широкой дуге. Когда я показалась в дверях, Бруно встал. Марк, кажется, хотел встать спокойно, но пёс рванул вверх по ступенькам, поводок натянулся, и Марк проехал за ним два мокрых пролёта, тихо выругался и только на третьей ступеньке поймал равновесие.

– Fermo, – сказала я.

Бруно сел. Марк посмотрел на него, потом на меня.

– Он меня год так не слушается.

– Ты ему ударение ставишь как на погрузке.

Он протянул мне стаканчик. Кофе был из ларька у моста, с корицей, без сахара, и ещё тёплый, значит, он купил его минут десять назад и всё это время держал в руках, чтобы не остыл. Я обхватила стаканчик ладонями и почувствовала, как тепло медленно поднимается в замёрзшие пальцы.

– Как?

– По протоколу.

– Шмелёв?

– Улыбался.

У Марка дёрнулась челюсть. Он ничего не сказал, просто посмотрел на меня тем взглядом, которым смотрит, когда хочет понять, что именно я не договариваю. Я этот взгляд знаю с осени. Раньше от него хотелось спрятаться, теперь хотелось рассказать всё сразу, и это было хуже.

Фразу я приготовила ещё в пять утра. «Марк, вчера вечером мне пришло сообщение с итальянского номера». Простая фраза, двенадцать слов. Я открыла рот и сказала:

– Бруно опять ел снег?

– Два раза, – сказал Марк. – Я не успел.

Я не могла себе объяснить, почему молчу. Вернее, могла, но объяснение мне не нравилось. Скажи я ему сейчас, к вечеру Корсак уже звонил бы кому-то в Геную, а Марк сидел бы в кабинете, тихий и очень спокойный, и я знаю, что бывает с людьми в этом городе, когда он такой спокойный. Он обещал больше ничего за меня не решать. Я ему верила. Себе, видимо, не очень. Это было пока моё, единственное, что осталось от папы, кроме браслета и тетрадей, и я не хотела, чтобы оно стало делом.

Марк посмотрел на мою левую руку. Она лежала на кармане пальто, там, где телефон. Он ничего не спросил. Три месяца назад спросил бы обязательно, а сейчас просто поправил мне шарф, который съехал набок, когда меня толкали журналисты. Пальцы у него были холодные и пахли кофе. Я про себя сказала ему спасибо и почувствовала себя последней сволочью.

– У меня в два аудиторы, – сказал он. – Москва. Хотят посмотреть, как выглядит порт, где больше нет серых схем. Подозреваю, они сами не очень верят, что так бывает. Отвезти тебя?

– Пройдусь.

– Вечером заеду. В восемь. С Бруно или без?

– С Бруно. Он хотя бы не спрашивает, как прошло.

– Я не спрашивал.

– Ты смотрел.

Он усмехнулся, поцеловал меня в висок, коротко, при всех, ему теперь было всё равно, кто видит. Потом пошёл к машине у моста. Машину вёл не Корсак, это я отметила тоже. Бруно уходил, оглядываясь на меня через каждые три шага, пока Марк не сказал ему что-то своим ужасным итальянским и не открыл заднюю дверь.

Домой я шла минут двадцать пять, вдоль Верхнего канала. Вода в нём была тёмная, почти чёрная у стен, а посередине, там, где отражалось небо, светлая, и по ней медленно плыли куски подтаявшего льда, кружась, сталкиваясь, расходясь. Старые дома на той стороне стояли, прижавшись друг к другу плечами, красный кирпич, белые наличники, и с крыш свисали сосульки, и с них капало в канал, и каждая капля оставляла на воде маленький круг, который тут же расплывался. У рыбного ларька на мосту жарили салаку, пахло на всю набережную. Чайки дрались над урной, хлопая крыльями, и одна, самая наглая, утащила из-под носа у другой рыбу голову и улетела с ней на фонарь. Какой-то мужчина с коляской остановился, чтобы пропустить меня на узком тротуаре, и сказал «проходите, девушка», а я подумала, что ничего этого не замечала бы ещё полгода назад, а теперь замечаю всё, как будто кто-то выкрутил мне резкость.

Квартира встретила меня коробками и тишиной. Прошло три месяца, а я разобрала только словари и посуду, остальное стояло вдоль стены под круглым окном, подписанное Дашиным почерком: «зима», «бумаги», «не трогать». Сквозь круглое окно падал серый мартовский свет, ложился на пол ровным кругом, и в этом круге медленно кружилась пыль. Я разулась, поставила чайник, бросила сумку на пол у дивана. Хотела переложить папку с заключением на полку и полезла за ней.

Из наружного кармана выпала фотография.

Настоящая, бумажная, глянцевая, с чуть загнутым углом. Такие печатали в фотоателье на Портовой, пока оно не закрылось. В правом нижнем углу оранжевые цифры даты, как ставили старые плёночные мыльницы: 08 '11.

На снимке была яхта, белая, с синей полосой по борту, и море вокруг неё, ярко-синее, августовское, в мелких белых барашках, и небо над ним без единого облака. За штурвалом стоял папа, шурился на солнце, смеялся и что-то говорил тому, кто снимал. Ветер трепал ему волосы, ещё тёмные, без седины. Левая рука у него лежала у меня на плече. Мне четырнадцать, на мне его жёлтая штормовка, рукава закатаны три раза, волосы длинные, ещё до пожара, до всего, ветер сдувает их на лицо, и я как раз пытаюсь убрать их рукой, поэтому на снимке у меня половина лица.

Я не помнила этого дня.

Это было странно, потому что то лето я помню почти по часам. Потом ведь их было не с чем перепутать: после августа была осень, а после осени уже не было папы. Я помню, как мы ходили до косы и обратно, и как пахло нагретой палубой и солью, помню, как он учил меня вязать булинь и злился, что у меня петля выходит на другую сторону. Этой фотографии я не видела никогда. Её не было ни в мамином альбоме, ни в коробках, которые я забрала себе на первом курсе. Кто-то хранил её пятнадцать лет отдельно от нас.

Я перевернула её.

На обороте синей шариковой ручкой, с нажимом, так что буквы немного продавили бумагу, было написано: «Кнехт. Стр. 115».

Почерк я узнала не по буквам, а по цифрам. Единица с длинным носиком, пятёрка с отдельным флажком сверху, как пишут в Европе. Папа всегда так писал цифры и меня научил, и в пятом классе учительница математики снижала мне за это оценки, а он ходил к ней разбираться и вернулся довольный, потому что она, кажется, так ничего и не поняла. Я до сих пор пишу пятёрку так. Я посмотрела на свой дневник, лежавший на столе, на вчерашнюю запись «21:28 – сообщение, +39».

«Кнехт» – это бар деда Саввы у старых доков. Про сто пятнадцатую страницу я не знала ничего. Сто четырнадцатую я знала наизусть с ноября.

Чайник щёлкнул и выключился, а я так и стояла посреди комнаты с фотографией в руке, в сером круге света из окна. Потом подошла к круглому окну и посмотрела вниз, на набережную. Там никого не было, кроме того же мужчины с коляской и такси, которое ждало кого-то у соседнего подъезда, с включёнными фарами, и в их свете косо летел мокрый снег. Глупо было смотреть. Тот, кто положил мне это в карман, не стал бы стоять под окнами.

Я села за стол, открыла дневник и записала: «15:47. Фото, наружный карман сумки. Почерк папин. Кнехт. 115». Посмотрела на эту строчку и ничего больше дописывать не стала.

За окном медленно темнело. Свет из круглого окна стал синим, потом серым, потом на канале один за другим зажглись фонари, и их жёлтые полосы снова легли на чёрную воду, как вчера, как каждый вечер. Без восьми восемь я убрала фотографию в Цингарелли. Словарь сам открылся на букве С, он там открывается уже три месяца, и снимок лёг между «calma» и «samallo». В восемь в дверь позвонили, на лестнице один раз, басом, гавкнул Бруно, и я пошла открывать.

Глава 2

Pulito (ит.) – чистый. У генуэзских экспедиторов «пулито» говорят про груз, который прошёл без досмотра. Одно слово на две противоположные вещи. А. Л.

Ниже, карандашом: «Марк говорит „в белую“. Хорошо, что по-итальянски он этого пока не знает».

В шесть утра над терминалом стоял туман, такой плотный, что прожекторы на кранах висели в нём отдельно от кранов, белыми размытыми шарами. Где-то в этой серой вате гудел буксир, коротко, два раза, и звук расплывался, и нельзя было понять, с какой он стороны. Вода у причалов была не видна, только слышна, она тихо и тяжело чавкала о сваи. Я приехал к пересменке. Раньше я приезжал к пересменке, когда надо было кого-то поймать. Теперь – когда надо было кого-то отпустить.

Сазонов и Ткач ждали в бытовке ночной смены. Двое бригадиров, которые пятнадцать лет пропускали через седьмой и девятый причалы то, что я им говорил пропускать, и ни разу ничего не перепутали. Я их сам ставил. Ткача ещё в девяносто восьмом, когда он был грузчиком, а я крановщиком и мы оба ходили в одной робе и делили один термос с чаем на двоих в перерыв, сидя на поддонах под дождём.

Бытовка была старая, железная, покрашенная когда-то в зелёный, теперь в ржавых пятнах. Внутри горела одна лампа под потолком, жёлтая, и окно запотело изнутри так, что тумана за ним не было видно. На столе лежали два конверта. Выходное пособие по Трудовому кодексу, три оклада сверху, справка, характеристика. Характеристику я писал сам, ночью, и в ней не было ни слова неправды, что для характеристики редкость.

– Это что, Марк Александрович? – спросил Сазонов, хотя прекрасно видел, что это.

– Расчёт.

– За что?

– За то, что вы хорошо работали, – сказал я. – Слишком хорошо. Вы помните все схемы, которые я строил. Мне это больше не нужно, а держать вас и надеяться, что вы забудете, я не могу.

Ткач молчал. Он вообще говорил мало, я поэтому его когда-то и выбрал. Потом взял свой конверт, не открывая, сунул во внутренний карман куртки и посмотрел на меня так, как смотрят на человека, которого знали молодым, а теперь не узнают.

– Мы с вами с девяносто восьмого, – сказал он.

– Я помню.

– Вы же сами нас всему этому учили.

– Поэтому и увольняю я, а не следователь.

Он кивнул, будто это его устроило. Может, и устроило. Сазонов хотел ещё что-то сказать, но Ткач взял его за рукав, и они вышли в туман, не попрощавшись, и туман закрыл их через три шага, сначала ноги, потом плечи, потом совсем, и осталось только, как хрустит под их ботинками мокрый гравий, всё тише. Я посидел в бытовке минут десять. Там пахло мокрыми куртками и растворимым супом, на стене висел календарь с прошлогодним мартом, который никто не перевернул. Я его перевернул и поехал в контору.

Антон был уже на месте, в элеваторе, в моём стеклянном кабинете под крышей, откуда виден весь порт, если нет тумана. Сегодня было видно только собственное отражение, бледное, с тёмными кругами под глазами, и за ним серую стену, и иногда в этой стене проступал красный огонь на верхушке крана и снова тонул. Антон сидел на краю стола с телефоном и выглядел так, будто не спал.

– «Кронос» уходит, – сказал он вместо «доброе утро».

«Кронос» был нашим крупнейшим экспедитором. Сорок процентов объёма. Триста с лишним контейнеров в месяц.

– Куда?

– К литовцам. Говорят, у нас «изменилась модель взаимодействия». Я спросил, что это значит. Мне ответили, что у нас теперь всё через досмотр, всё через документы, всё с задержкой на сутки, а им нужна гибкость. – Антон положил телефон экраном вниз. – Гибкость, Марк. Они двенадцать лет платили нам за гибкость.

– Я знаю, за что они платили.

– Это минус четверть выручки.

– Я умею считать.

Он посмотрел на меня с той осторожностью, с какой смотрел ещё осенью, когда я чуть не уничтожил его из-за бумажки, которую подсунул Гранин. С тех пор он перестал меня бояться, но привычка осталась, как остаётся привычка пригибаться у двери, о которую однажды больно ударился.

– В два у тебя аудиторы, – сказал он. – Москва. Они уже вторую неделю у нас в бухгалтерии сидят, и Ольга Петровна говорит, что так её не проверяли со времён её первого мужа.

– Дай им всё.

– Всё?

– Всё, что попросят. С две тысячи двенадцатого года. Если чего-то не хватает, пусть Ольга Петровна восстановит и тоже даст.

Антон долго молчал, потом сказал:

– Ты понимаешь, что там найдут.

– Понимаю. Пусть лучше найдут они, чем Lanterna.

Lanterna Shipping второй месяц покупала в Балтике всё, что раньше принадлежало «Нордлайну»: контракты, склады, людей. Делала это вежливо, через приличных юристов, и от этой вежливости у меня начинала болеть голова.

В одиннадцать я уехал к суду. Эльвира запретила мне входить в зал, и правильно запретила, я бы там не выдержал и часа. Я сел на ступеньки. Гранит был мокрый и холодный, холод шёл сквозь джинсы прямо в кости, и я сидел и смотрел, как на той стороне канала дворник в оранжевом жилете медленно сгребает лопатой серую снежную кашу к краю тротуара, а она тут же растекается обратно. Бруно лёг рядом и сразу съел полкилограмма снега, пока я покупал кофе у моста, и потом ещё раз, когда я отвернулся. Корицу в ларьке держали специально для меня, я их об этом попросил в январе, и продавщица каждый раз смотрела так, будто я заказываю что-то неприличное.

Вера вышла в начале первого. Бледная, аккуратная, ровная, в своём сером пальто, с папкой, прижатой к боку, и в первую секунду, на верхней ступеньке, на фоне тёмных дверей, она показалась мне совсем маленькой, как будто здание за её спиной выросло за эти три часа. Сказала, что всё прошло по протоколу. Правую руку держала на стаканчике, левую на кармане пальто, и на кармане она лежала так, как кладут руку на что-то, что могут отнять. Я это видел. Я двадцать лет живу тем, что вижу, куда люди кладут руки.

Я ничего не спросил. В январе, на её кухне, среди коробок, я пообещал, что не буду решать за неё и не буду лезть туда, куда меня не зовут. Обещание было глупое, потому что выполнить его мне примерно так же легко, как Бруно не есть снег. Но я его дал. Поправил ей шарф и уехал в порт.

Аудиторов было трое. Двое молодых, с ноутбуками, которые сразу ушли с Ольгой Петровой в архив, и старший, Голиков, лет пятидесяти, в хорошем костюме и плохих ботинках. Ботинки меня всегда интересуют больше костюма: костюм покупают для встреч, ботинки для жизни. Он посидел у меня в кабинете минут сорок, посмотрел в окно, где к двум часам туман наконец разошёлся и показались краны, жёлтые, с опущенными стрелами, мокрые, блестящие,

как будто их только что вымыли, и за ними серая полоса воды, и литовский балкер у четвёртого причала, задал несколько правильных вопросов. Потом попросил оставить нас вдвоём. Антон посмотрел на меня, я кивнул, он вышел.

– Марк Александрович, – сказал Голиков и улыбнулся так, как улыбаются в бане. – Давайте по-человечески. Я двадцать лет этим занимаюсь. У вас за двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый годы там такое, что если это всё оформить как положено, вашим юристам работы лет на пять. Вы человек разумный. Мы тоже люди понятливые. Вопрос можно решить.

Я некоторое время на него смотрел. Не специально, просто думал. Год назад Гранин сидел на этом же стуле, и я говорил с ним почти шёпотом, и через пять минут он был мокрый, как будто его окунули в залив. Голикова мне окунать не хотелось. Мне вообще ничего не хотелось, кроме как чтобы он ушёл.

– Видите камеру над дверью? – спросил я.

Он обернулся. Камера была маленькая, белая, с зелёной точкой.

– Я её поставил в понедельник, – сказал я. – Для вашего удобства. Чтобы потом никто не говорил, что на проверяющих здесь давили. Запись идёт на сервер, копия раз в сутки уходит вашему руководству. Я это согласовал письмом, письмо у вас в папке, третий лист. Вы, наверное, не дочитали.

Голиков посмотрел на камеру спокойно, без всякого испуга. Потом снова на меня. Улыбка осталась на месте.

– Хорошая техника, – сказал он. – Серверы, правда, иногда сбоят. Особенно во время проверок. Я двадцать лет хожу по таким кабинетам, Марк Александрович, и сколько раз видел, как запись за нужный день сама собой стиралась. При следующей ревизии, при обновлении программы, при замыкании в серверной. Техника не любит, когда на неё слишком надеются.

Он сказал это ровно, почти дружески, и я понял, что он не пугается. Он торгуется. Это хуже. Испуганный человек уходит. Торгующийся остаётся и ищет, где у тебя слабое место, как ищут трещину в бетоне причала: простукивает, слушает звук.

– Копия уходит не только на мой сервер, – сказал я. – Одновременно в облако, доступ к которому есть у моего адвоката, Эльвиры Штерн, вы, наверное, о ней слышали. И раз в неделю на носитель, который лежит у нотариуса на Ратушной, под опись. Сотрётся у меня – останется у неё. Сотрётся у неё – останется у нотариуса. А если сотрётся у нотариуса, значит, в этом городе горит что-то покрупнее серверной, и нам с вами будет уже не до налогов.

Голиков помолчал. Потом кивнул, медленно, как кивают партнёру по шахматам, который сделал неожиданный, но честный ход. Встал, аккуратно задвинул стул.

– Я, видимо, неправильно выразился, – сказал он. – Я, конечно, имел в виду процедуру добровольного уточнения налоговых обязательств.

Я сказал, что так и понял. Он пошёл к двери, у двери обернулся и сказал, уже без улыбки:

– Вы хорошо подготовились, Марк Александрович. Но проверка у вас не последняя.

Он ушёл. Через десять минут Антон доложил, что Голиков уехал, сославшись на давление, а молодые остались в архиве и, кажется, даже не заметили.

Год назад от меня за такое предложение человек ушёл бы с другим лицом. Этот ушёл со своим и унёс с собой то, что я ему сам показал: где у меня лежат копии и кто их хранит. Я понял это, когда за ним закрылась дверь. Я не знал, выиграл я этот разговор или только отложил его, и решил подумать об этом потом.

Письмо из Генуи пришло в половине четвёртого. Ligurian Mutual, страховой клуб, через который были застрахованы почти все средиземноморские линии, заходившие к нам. Английский, вежливый, на полторы страницы. Клуб с сожалением сообщал, что в связи с публичными заявлениями руководителя оператора терминала, а именно с признанием осведомлённости о готовящемся преступлении и отказом его предотвратить, правление сочло риски неприемле-

мыми и прекращает покрытие операций на терминале «Северная гавань» с первого мая. К письму была приложена ссылка на видео. На моё видео. Со ступеней суда.

Антон прочитал через моё плечо и сказал одно слово, которое я не стану повторять.

– Без них к нам не зайдёт половина итальянцев, – сказал он потом. – И греки. И испанцы, наверное, тоже.

– Я понял.

– Это Lanterna. Они же генуэзские. У них там половина правления этого клуба.

– Скорее всего.

– И что ты будешь делать?

Я не знал. Это было непривычно. За двадцать лет я привык знать, что делать, раньше, чем меня спрашивали. Я стоял у стекла и смотрел вниз, на порт, где под низким серым небом медленно поворачивалась стрела четвёртого крана, отцовского, и несла над водой контейнер, синий, маленький отсюда. Тогда, на ступенях, я сказал правду, единственный раз за всю зиму сделал что-то правильно, и теперь именно это стоило мне дороже всего остального. Наверное, в этом была какая-то справедливость, но разглядывать её мне не хотелось.

В пять позвонил Байков.

Следственный комитет прислал его из Москвы в феврале, после ареста Шмелёва. Он сидел в здании областного управления, в кабинете на третьем этаже, который ему уступили так быстро, что там до сих пор висел чужой календарь с рыбалкой. Ему было лет сорок пять, говорил он вежливо, выглядел как школьный учитель физики, и Эльвира про него сказала, что таких она боится больше всего, потому что их невозможно разозлить.

Он попросил подъехать к шести «для беседы». Эльвира приехала прямо из суда, злая и уставшая, и в коридоре, под тусклой лампой, у стенда с какими-то приказами, успела сказать мне, что если я открою рот без её разрешения, она меня задушит лично.

Кабинет был тесный, с одним окном, за которым уже темнело, и в стекле отражалась лампа на столе, жёлтая, под зелёным абажуром, такая, какие стояли в библиотеках, когда я был маленьким. Байков налил нам чаю в одинаковые белые кружки, поставил на стол ноутбук и включил запись. Я не смотрел её ни разу с декабря. Оказалось, что на ней я выгляжу старше, чем себя помню, и что говорю медленнее. «Я знал о готовящемся поджоге на Каштановой. Я знал о нём за неделю. И я приказал своим людям не вмешиваться». Байков остановил запись на этой фразе, и моё лицо застыло на экране с полукрытым ртом, и он посмотрел на меня поверх очков.

– Марк Александрович, – сказал он мягко. – Вы знали о поджоге за неделю. Вы сказали это сами, при свидетелях, на камеру. Это уже не исповедь. Это показания.

– Мой клиент воспользуется статьёй пятьдесят первой Конституции, – сказала Эльвира.

– Безусловно, – согласился Байков. – Это его право. Я только хотел бы понять, кто были «свои люди». Сколько их было, где они стояли и что именно делали, пока дверь квартиры была заперта снаружи. Потому что одно дело – не сообщить. А другое – стоять под окнами и смотреть.

Он говорил без нажима, как будто объяснял задачу у доски. Я молчал, как велела Эльвира. Корсак в ту ночь стоял под домом на Каштановой. Байков это, конечно, знал или узнает. Он показал нам ещё пару бумаг, сказал, что пока это проверка и никто никого ни в чём не обвиняет, и отпустил нас в семь, с тем же вежливым лицом.

В машине Эльвира долго молчала. Мы ехали по набережной, фонари уже горели, и в их свете снова пошёл снег, мокрый, крупный, тяжёлый, он падал на лобовое стекло и тут же таял, и дворники сгребали его в сторону мутными полосами. Потом она достала сигарету, открыла окно, и в машину сразу ворвался холод и запах мокрого асфальта, и закурила.

– Мальчик мой, – сказала она. – Ты сам подарил им статью. Завернул в бантик и вручил при двух миллионах зрителей.

– Я сказал правду.

– Я знаю. Я там стояла. – Она выпустила дым в окно, и ветер тут же сорвал его и унёс назад, в темноту. – Правда в нашем деле, к сожалению, тоже документ. У неё есть дата, автор и последствия. Ладно. Будем работать с тем, что ты натворил. В первый раз, что ли.

Она высадила меня у дома, где ждал Корсак с Бруно, и я поехал к Вере.

В восемь ровно я позвонил в дверь. Бруно гавкнул один раз, для порядка, и сразу начал скрести лапой коврик. Вера открыла в домашнем свитере, с мокрыми после душа волосами, которые падали ей на плечи тёмными прядями, и от неё пахло мылом и почему-то мандаринами. Сказала, что день был длинный, но нормальный, и пошла ставить чайник. Бруно прошёл за ней на кухню, лёг поперёк прохода и стал смотреть на неё снизу, как смотрит только на неё.

Квартира была всё та же, коробки вдоль стены, словари стопками, круглое окно, за которым горели фонари на канале, и их отражения лежали на тёмной воде длинными дрожащими полосами, и в стекле окна, поверх них, отражалась настольная лампа. Угол у окна она называла кабинетом. Там стоял стол, лампа, старый принтер и стопка бумаг, всегда ровная, по краям.

– Посмотри принтер, если не трудно, – крикнула она из кухни. – Он с ночи жуёт бумагу. Я его ногой уже пробовала, не помогает.

Я снял крышку. Внутри ничего не застряло, только валик был грязный. Я протёр его салфеткой, потом приподнял принтер, чтобы проверить провод, и увидел под ним сложенный вдвое лист, который туда, видимо, засунули, чтобы он не мешал.

Это была первая страница её заключения. Я узнал шапку, я видел её утром в папке. Только внизу, в последнем пункте, было напечатано не то, что она читала в суде. «Голос идентифицирован как голос...». Дальше строка была зачёркнута ручкой, несколько раз, так плотно, что бумага в этом месте порвалась. Разобрать под чернилами ничего было нельзя. Я и не пытался.

Я постоял с этим листом минуту. На кухне звенели ложки, свистел, закипая, чайник, Вера что-то говорила Бруно по-итальянски, тихо, нараспев, как говорят с детьми, и он стучал хвостом по полу. За окном по каналу медленно прошёл катер, и полосы света на воде заколыхались, разбились на куски и снова сошлись. Я сложил лист обратно, по старому сгибу, положил под принтер, ровно туда, где он лежал, и опустил принтер сверху.

– Валик грязный был, – сказал я, когда она принесла чай. – Теперь должен работать.

– Спасибо, – сказала Вера и улыбнулась.

Я сел пить чай. Чай был с корицей, она теперь всё делала с корицей, даже чай, и смеялась, что это я её испортил. Мы говорили про аудиторов, про Бруно, про то, что Даша опять собирается в какую-то командировку. Лампа на столе горела жёлтым, Бруно уснул у её ног, положив морду ей на ступню, и за круглым окном всё шёл и шёл мокрый снег, и таял, не долетая до воды. Я ничего не сказал про лист. Обещание было глупое. Но я его дал.

Глава 3

Knecht (нем.) – слуга, батрак. Так на причале называют чугунную тумбу, к которой крепят швартовы. По-итальянски bitta. Немцы называли тумбу слугой: она держит судно и ничего не решает. А. Л.

Ниже, карандашом: «Савва думает, что бар так называли, потому что к нему все швартоуются. Про слугу я ему говорить не стала».

Утром у меня был арбитраж. Генуэзская фирма судилась с местным заводом из-за партии клапанов, которые пришли не того диаметра, и два часа я переводила спор о миллиметрах в маленьком зале на втором этаже арбитражного суда, где батареи жарили так, что окна запотели изнутри и за ними расплывался серый двор с припаркованными машинами. Представитель фирмы, немолодой и очень вежливый, с седыми висками и золотыми запонками, всё время говорил «mi permetta» перед каждой фразой, даже перед «нет». На третьем «mi permetta» судья начала улыбаться. Я переводила ровно, без «позвольте», потому что в протоколе вежливость не нужна, нужны миллиметры. Обычно мне такая работа нравится, в ней есть что-то честное, как в столярном деле: деталь либо входит в паз, либо нет. Сегодня я поймала себя на том, что слушаю не слова, а то, как он дышит перед глухими согласными, и разозлилась на себя так, что чуть не перепутала дюймы с сантиметрами.

В час я вышла из суда, постояла на крыльце и поняла, что домой не поеду. Небо над улицей было белёсое, низкое, с жёлтым пятном там, где за облаками пряталось солнце, и с крыши напротив мерно капало в жестяной отлив, отбивая что-то вроде медленного метронома.

Фотография лежала в сумке, во внутреннем кармане, который я на этот раз застегнула. Ночью я её почти не доставала. Один раз только, около трёх, когда встала попить воды и не выдержала. Посмотрела при свете уличного фонаря из окна на оборот, на эти цифры с флажками, положила обратно в Цингарелли и легла. Марк спал на краю кровати, Бруно у него в ногах, и оба храпели, каждый в своём ритме, один глубже, другой с присвистом, и иногда их ритмы совпадали, а потом снова расходились. Я лежала и слушала. Почему-то от этого было спокойнее.

До старых доков я поехала на трамвае. Он идёт вдоль канала, медленно, позвякивая на стыках, мимо красных кирпичных складов с заколоченными окнами, мимо моста с рыбным ларьком, мимо церкви с облупленным куполом, потом сворачивает к порту, и последние три остановки в вагоне остаются только грузчики со смены, рыбаки и пенсионеры с сумками на колёсах. Пахнет мазутом и мокрыми куртками. Стёкла в трамвае грязные, в разводах, и сквозь них порт выглядит как старая фотография: краны, ржавые ангары, низкое небо, чайки. Я села у окна. Напротив дед в вязаной шапке разгадывал кроссворд и спросил меня, как называется итальянский город на «Т» из шести букв. Я сказала «Турин». Он посчитал буквы, загибая толстые пальцы, обрадовался и сказал, что я, наверное, учительница.

«Кнехт» стоит на углу у старых доков, в одноэтажном кирпичном доме, который помнит, наверное, ещё немецкие времена. Над дверью висит деревянная вывеска с нарисованной чугунной тумбой и канатом, краска на ней выгорела и облупилась, так что тумба кажется не чёрной, а серой. Бар открывался в два, но дверь была не заперта. Внутри топились чугунная печка, и от неё шло сухое, плотное тепло, которое сразу обняло меня с порога. На стенах висели всё те же морские карты, местами с пятнами от пива, под потолком гудела лампа в железном абажуре. Пахло дымом, жареной рыбой и старым деревом. Савва стоял за стойкой и протирал стаканы. Левая рука у него после декабря так до конца и не разогнулась, он держал стакан правой, а левой только придерживал полотенце, и делал это так быстро, что, если не знать, не заметишь.

– Верка, – сказал он, не поднимая головы. – Ты чего так рано? Голодная?

– Нет.

– Значит, голодная. Садись.

Он поставил передо мной тарелку с жареной салакой и хлеб, хотя я ничего не просила, и налил чаю из большого жестяного чайника, помятого, с чёрной ручкой, обмотанной изолентой. Чай у него всегда такой крепкий, что ложка в нём, по его словам, должна стоять. Ложка не стояла, но я никогда ему об этом не говорила.

Я съела две рыбки, чтобы он отстал. Они были горячие, хрустящие, с солью, и я вдруг поняла, что не ела со вчерашнего утра. Потом достала фотографию и положила на стойку оборотом вверх.

Савва посмотрел. Протёр руки о фартук, взял снимок, повернул к свету, к окну, где за мутным стеклом серели доки, перевернул. Смотрел долго. На яхту, на папу за штурвалом, на меня в жёлтой штормовке. Потом снова на оборот.

– Это где ты взяла? – спросил он тихо.

– Мне подложили вчера, в суде.

– Кто?

– Не знаю.

Он положил фотографию на стойку, аккуратно, двумя пальцами, как кладут что-то горячее. Отошёл к окну, постоял, глядя на доки, на ржавый порталый кран, который стоял там без дела лет десять, вернулся. Я видела, что он не знает, с чего начать, и ждала. Савва вообще не любит говорить про то, что было, он любит говорить про то, что будет на ужин. Если он молчит, значит, думает, как бы так сказать, чтобы ничего лишнего.

– Дядя Савва, – сказала я. – Он вам что-нибудь оставлял?

Савва долго не отвечал. Потом сказал, глядя не на меня, а в окно, на ржавый кран:

– Может, и оставлял. Только он велел отдать, когда ты перестанешь верить в шторм. А я почём знаю, перестала ты или нет. Ты вон с кольцом на шее ходишь, замуж собралась. Может, это у тебя нервы. Суды эти, пожар. Карточку кто-то подсунул, а ты уже и поверила.

Я ничего не ответила. Я достала телефон и наушники. В телефоне у меня лежал фрагмент, который я в феврале вырезала из фальшивой записи и неделю прогоняла через фильтры, пока из шума не проступило то, чего там быть не должно. Полторы секунды. Сороковая минута, место склейки. Я надела Савве один наушник, прямо поверх седых волос, он поморщился, но не снял. Я включила.

Я знала наизусть, что он сейчас слышит. Шорох. Короткий свистящий вдох, какой бывает у курильщиков перед глухой согласной. И шёпот, совсем тихий, в сторону от микрофона, как говорят не в запись, а тому, кто рядом: «Piano, piano».

Савва снял наушник. Положил его на стойку рядом с фотографией. Лицо у него не изменилось, только он полез в карман фартука за сигаретами, хотя в баре не курил никогда, достал пачку, подержал и сунул обратно.

– Он так матросам говорил, – сказал Савва хрипло. – Когда они орали всем столом и перебивали друг друга, а он переводить не успевал. Поднимет два пальца, вот так, и ладонью вниз. Piano, piano. Они ржали и замолкали. – Он помолчал. – Это старая запись?

– Октябрь прошлого года, дядя Савва. Допрос Луки Феррары. Я её месяц разбирала.

Савва вздохнул, тяжело, с присвистом, и полез под стойку.

Там у него стоит старый железный ящик, в котором он держит кассу, накладные и, как говорят, ещё один ящик поменьше, про который никто ничего не знает. Он долго гремел ключами, ругался себе под нос, потом выпрямился и положил передо мной конверт.

Конверт был обычный, почтовый, белый когда-то, а теперь серо-жёлтый, с загнутыми краями. Заклеен он был не клеем, а скотчем, крест-накрест, и скотч за пятнадцать лет высох и пожелтел, отстал по краям. На лицевой стороне папиным почерком было написано: «Для Верины, когда она перестанет верить в шторм».

Я не трогала его. Я сидела и смотрела на эти слова. Печка трещала у меня за спиной, лампа гудела, и где-то за окном, далеко, в порту, коротко прогудел буксир.

– Он тут бывал, – сказал Савва. – Ты, может, не знаешь. Андрей. По вечерам, когда в порту стояли итальянцы. Капитаны, механики, у них вечно с нашими какие-то дела, то накладные не те, то кран не тот. А переводчика им агентство даёт раз в неделю, и тот по-итальянски говорит, как я по-китайски. Вот твой отец и приходил. Сядет в угол, вон за тот столик, у печки, возьмёт облепиховую, одну на весь вечер, и переводит. Денег почти не брал. Говорил, ему для словаря надо, слова собирать. Матросы его любили. Он с ними на их языке матерился, они ржали.

Я посмотрела на столик у печки. Маленький, круглый, с потёртой клеёнкой в синюю клетку. Я сидела за ним десятки раз и ни разу не знала.

Я этого не знала. То есть я знала, что папа иногда задерживался по вечерам и приходил домой пахнувший табаком и рыбой, и мама злилась, и гремела на кухне посудой громче обычного. Я думала, это работа. Это и была работа, только не та, про которую рассказывают.

– За неделю до того, как он... – Савва замолчал и поправился. – За неделю до шторма он пришёл днём. Один, трезвый. Отдал мне этот конверт и сказал: «Савва, положи куда-нибудь, где не найдут. Это для Верины. Отдашь, когда она перестанет верить в шторм». Я ему говорю: а как я узнаю? Он засмеялся и говорит: она сама придёт и спросит.

– И вы ждали.

– Ну а что мне было делать. – Савва развёл руками, вернее, развёл одной, правой. – Через неделю его не стало. Я думал, он что-то такое чувствовал. Ну, бывает, люди перед смертью чувствуют. Думал, это письмо дочке, на память, с того света, так сказать. А раз он сказал – когда перестанет верить, значит, рано. Ты-то верила. Я на тебя смотрел все эти годы. Приходила ты сюда редко, но я смотрел. Верит. Ну и пусть верит. Мёртвым не перечат.

Он помолчал.

– А в декабре, когда тут Луку... когда тут всё это было, я хотел отдать. Честно. Достал даже. А потом думаю, у девки и так сейчас всё в крови, куда ей ещё письмо от покойника. Убрал обратно.

– Он не покойник, – сказала я. – Вы же сами слышали.

Я сказала это ровным голосом, будто поправляла чужой перевод, и сама удивилась, как спокойно это прозвучало. Вслух это было в первый раз.

Савва поднял на меня глаза. Потом опустил их на фотографию, на оранжевые цифры в углу, на почерк на обороте. Лицо у него стало очень старое, совсем, как я его ещё никогда не видела, как будто за одну секунду с него сошло всё, что держало его бодрым все эти годы, и осталась только кожа, морщины и усталость.

– Вон оно что, – сказал он. – Ну, вскрывай тогда.

Скотч отошёл почти сам, с тихим сухим треском. Внутри было три вещи.

Сначала я достала лист. Он был в клетку, плотный, чуть желтоватый, и я узнала его раньше, чем развернула: такая бумага была в папиных молескинах, он покупал их в Италии, потому что наши тетради, по его словам, разваливались от одного взгляда. Левый край был неровный, лист вырвали из переплёта, но аккуратно, по шву, придерживая пальцем, чтобы не порвать соседние. Сверху в правом углу стояла цифра. 115. С тем же флажком.

На листе был список. Четыре колонки, мелким почерком. Название судна, дата, номер причала и какая-то буква, в основном «Z», иногда «M». «Maria Grazia», март две тысячи девяттого. «Capo Noli», июнь того же года. «Levante», «Santa Rosalia», снова «Maria Grazia». Всего девятнадцать строк, последняя – октябрь две тысячи одиннадцатого, за месяц до Генуи. В колонке причалов почти везде стояла семёрка. Против трёх строк на полях были маленькие крестики, такие, какими папа отмечал в словарях слова, в которых сомневался.

Я не знала, что это значит. Я знала только, что седьмой причал – это тот, где осенью нашли Лапина.

Потом из конверта выпал ключ и звякнул о деревянную стойку, негромко, но в тишине бара этот звук показался мне очень громким. Небольшой, латунный, потемневший, с круглой головкой и сложной бородкой. К нему на суровой нитке была привязана картонная бирка, а на бирке, уже не папиной рукой, а печатными буквами, как пишут в учреждениях: «Banca del Porto. Genova. 1147».

Савва смотрел на ключ так, будто это граната.

Третьей была записка. Маленький листок, сложенный вчетверо, оторванный от того же блокнота, только без номера. Буквы были крупнее, чем обычно у папы, и наклон немного другой, как будто писал он стоя или очень торопился.

«Если ты это читаешь, я не смог вернуться сам. Не ищи меня. Ищи тех, кто меня держит».

Подписи не было. Она была не нужна.

Я прочитала это раза четыре. Потом сложила записку обратно по старым сгибам, сгибы были мягкие, почти протёртые, будто её не раз разворачивали и сворачивали, пока она ещё лежала у него в кармане. Положила всё обратно в конверт: лист, ключ, записку. Конверт положила в сумку, во внутренний карман, и застегнула его.

– Чай остыл, – сказал Савва. – Давай подолью.

Он подлил. Я выпила, хотя меня немного мутило.

– Марику скажешь? – спросил он, когда я уже надевала пальто.

– Пока нет.

– Пока, – повторил Савва и покачал головой. – Знаю я это «пока». У меня жена тридцать лет говорила «пока», пока не ушла к начальнику порта.

– Дядя Савва, не говорите ему. Пожалуйста.

Он долго смотрел на меня, потом кивнул.

– Я Марику тридцать лет не говорю того, чего ему знать не надо. Скажу ещё немного. Только ты, Верка... – Он замолчал и махнул рукой. – Ладно. Иди. Салаку я тебе заверну.

Он завернул мне салаку в газету, и газета сразу потемнела пятнами от масла, и я ехала домой в трамвае с конвертом в сумке и рыбой в руках, и дед в вязаной шапке опять был в вагоне, только теперь спал, привалившись головой к стеклу, и кроссворд лежал у него на коленях, а за окном медленно плыли назад краны, склады и чайки, и всё это было серым и тихим, как будто ничего не случилось.

Дома я первым делом полезла в коробку, на которой Даша написала «бумаги – осторожно». Тетради лежали на самом дне, под мамиными старыми свитерами, которые я зачем-то забрала, когда она уезжала, и так ни разу и не надела. Свитера пахли нафталином и чем-то ещё, далёким, едва уловимым, маминой пудрой, наверное, или нашей старой квартирой на Каштановой. Самая толстая тетрадь, в коричневой коже, с тиснением на торце: «Италия. Генуя – Неаполь».

Я открыла её на сто четырнадцатой. «Лигурийский субстрат в неаполитанской речи. Ошибки имитации». «Camallo» в рамочке. Эту страницу я знала с ноября наизусть, могла бы пересказать её с закрытыми глазами, с пометками на полях. В ноябре я сидела над ней на полу кухни на «Маяке» и не дышала.

Я перевернула лист. Сто шестнадцать.

Между ними, у самого шва, торчал узкий бумажный корешок, миллиметра три, ровный, почти незаметный. Если не искать, не увидишь. Я его и не видела. Ни в ноябре, ни раньше, когда на первом курсе перебирала эти тетради и плакала над ними, ни потом, когда переезжала. Я столько лет считала, что папа не ошибается в цифрах, что ни разу не проверила, все ли страницы на месте.

Я достала из конверта лист и приложила к корешку. Край совпал. Не идеально, бумага за пятнадцать лет повела себя по-разному, одна половина жила в тетради, в темноте, в коробке, другая в железном ящике под стойкой, у печки, и они пожелтели неодинаково, но совпал.

Я долго сидела так на полу, с тетрадью на коленях и вырванной страницей в руках. За окном начало темнеть. Сначала посинел круг света на полу под круглым окном, потом погас совсем, потом на канале один за другим зажглись фонари, и в комнате стало видно только их отражения на потолке, жёлтые, дрожащие. В какой-то момент позвонил Марк, сказал, что сегодня останется в порту допоздна, потому что Антон нашёл что-то в старых договорах с «Кроносом» и это надо посмотреть сейчас. Спросил, всё ли у меня хорошо. Я сказала, что купила салаку. Он засмеялся и сказал, что Бруно ему этого не простит.

Когда он повесил трубку, я поняла, что уже всё решила, просто не заметила, когда.

Если я покажу ему ключ, к утру он будет знать про Banca del Porto всё: кому принадлежит, где находится, кто там управляющий и сколько стоит открыть ячейку без владельца. Он не станет делать ничего плохого, он теперь вообще старается ничего плохого не делать. Он просто начнёт это решать, а я буду смотреть, как решают. Так уже было осенью. Тогда это спасло мне жизнь, и тогда же я узнала, что за этим спасением стоял расчёт, о котором мне никто не сказал. Я не хотела снова оказаться человеком, за которого считают.

И ещё. Мне было стыдно в этом признаваться даже самой себе, но это было моё. Папа написал «для Верины». Не для Раевского, не для следователя, не для суда. Пятнадцать лет это лежало в железном ящике под стойкой и ждало, когда я перестану верить в шторм. Я перестала вчера, в половине десятого вечера, в наушниках. Мне хотелось хотя бы несколько дней подержать это в руках одной, прежде чем оно станет делом.

Я сложила тетрадь, вложила вырванный лист на его место, между сто четырнадцатой и сто шестнадцатой, чтобы он не потерялся. Ключ и записку убрала обратно в конверт. Конверт положила в коробку со словарями, на самое дно, под старый академический словарь в двух томах, который никто, кроме меня, никогда в жизни не откроет. Даже Марк. Он однажды попробовал поднять оба тома одной рукой и сказал, что в порту так грузят чугун.

Коробку я задвинула под стол, в свой кабинет у окна, рядом с принтером.

Потом пожарила салаку, съела её стоя у плиты прямо со сковородки, как в общежитии, обжигая пальцы, и записала в дневник: «Кнехт, 14:10. Конверт. Стр. 115 – список судов, 2009–2011, причал 7. Ключ, Banca del Porto, Genova, 1147. Записка». Посмотрела на слово «записка» и не стала переписывать, что в ней было. Я и так помнила.

Телефон завибрировал в половине одиннадцатого, когда я уже легла.

Я думала, это Марк, что едет. Но номер начинался на +39, тот же, что позавчера. Я села в кровати. В комнате было темно, только фонари с канала рисовали на потолке свои дрожащие полосы, и экран телефона светился в этой темноте холодным голубым пятном. Бруно на полу поднял голову и посмотрел на меня.

Сообщение было по-русски, без ошибок и без подписи.

«Не верь человеку, который позволил тебе гореть».

Я машинально посмотрела на левую ладонь. Шрам от оконной рамы был на месте, бледный и ровный, в голубом свете экрана он казался почти серебряным. Он давно перестал болеть и болел теперь, только если я про него думала. Сейчас болел.

Я набрала «Кто вы?», стёрла, набрала «Папа», стёрла и это. Положила телефон экраном вниз на тумбочку. Комната снова стала тёмной. Бруно вздохнул, перевалился на другой бок и снова заснул.

Марк приехал в начале второго. Тихо открыл дверь своим ключом, тихо разделся в темноте, стараясь не задеть коробки, лёг и обнял меня со спины, осторожно, чтобы не разбудить. От него пахло холодом, бумагой и портом. Его рука легла мне на живот, тяжёлая и тёплая, и я

чувствовала, как он медленно засыпает, как его дыхание у меня на затылке становится ровнее и глубже. Я лежала с закрытыми глазами и делала вид, что сплю.

Глава 4

Madrelingua (ит.) – родной язык. Буквально «мать-язык». Люда говорит, что у неё нет способностей к языкам. У неё есть способность молчать на любом, это встречается реже. А. Л.

Ниже, карандашом: «Я в детстве думала, что он это про неё со злостью. Перечитала сейчас. Не со злостью».

Мама прилетела в субботу, дневным рейсом, и я встречала её в аэропорту одна, потому что Марк предложил поехать вместе, а я сказала, что не надо. Он не спорил. Он теперь вообще редко спорит, когда я говорю «не надо», и я каждый раз не могу понять, нравится мне это или пугает.

Аэропорт в Зееграде маленький, стеклянный, и в зале прилёта всегда сквозняк, потому что автоматические двери не успевают закрыться за одними пассажирами, как к ним уже подходят другие. Я стояла у ограждения, кутаясь в шарф, и смотрела, как за стеклом по мокрому полю катится самолёт, белый, с синим хвостом, как разворачивается, как к нему подползает трап.

Она вышла из зоны прилёта первой из всего самолёта, как всегда. Светлое пальто, маленький чемодан на колёсах, волосы уложены так, будто она летела не два часа в эконом-классе, а сидела всё это время у парикмахера. За ней шёл Геннадий с двумя сумками и пакетом из дьюти-фри. Мама поцеловала меня в щёку, не касаясь, воздухом, и от неё пахло духами, теми же, что двадцать лет назад, горьковатыми, с чем-то цветочным внутри, и я на секунду почувствовала себя маленькой.

– Ты похудела, – сказала она. – И волосы. Это теперь так носят?

– Это теперь так отросло.

– Ну, тебе идёт, – сказала она тоном, которым говорят «ну, ничего». Потом посмотрела на мою шею, где на цепочке рядом с папиным браслетом висело кольцо. – А почему не на пальце?

– Мешает писать.

Она чуть приподняла бровь и ничего не ответила. Геннадий обнял меня сам, крепко, по-медвежьи, сказал «ну, невеста!» и сунул мне в руки пакет с какими-то конфетами. Геннадий всегда был добрее мамы. Я это поняла лет в двадцать и до сих пор не знаю, что с этим знанием делать.

В машине мама смотрела в окно и говорила про погоду. Про то, что в Москве уже сухо, а здесь у нас вечная сырость, как она тут прожила столько лет, непонятно. Про то, что Геннадий опять забыл в самолёте очки. Геннадий с переднего сиденья виновато сказал, что не забыл, а положил в карман, и долго в этом кармане рылся, шурша фантиками. За окном тянулись серые поля, мокрые, в остатках снега, лужи на обочинах отражали низкое небо, и вдоль дороги стояли голые берёзы, белые, тонкие. Когда мы свернули на дорогу к косе и пошли сосны, мама замолчала. Сосны стояли высокие, рыжие, с тёмными кронами, и между ними мелькали дюны, бледно-жёлтые, в редкой сухой траве, и за ними где-то угадывался залив, серый, сливающийся с небом. Я посмотрела на маму в зеркало. Она смотрела на дюны так, как смотрят на место, где что-то потеряли, но не помнят, что именно.

Марк встретил нас у ворот сам, без охраны, в сером свитере. Это был его выходной свитер, хотя со стороны он ничем не отличался от будничного. За его спиной поднимался «Маяк»: старая кирпичная башня, тёмно-красная, потемневшая от ветров, и к ней пристроенный дом из бетона и стекла, в котором отражались сосны и бледное небо, так что казалось, будто дом наполовину прозрачный. Бруно стоял рядом и вежливо молчал. Это я его попросила, утром, по-итальянски, и ещё раз в обед, и он, похоже, понял, что день особенный, потому что даже не прыгнул на Геннадия, хотя Геннадий пах колбасой из самолёта.

– Людмила Сергеевна, – сказал Марк и протянул руку.

Мама пожала её. Я видела, что она его рассматривает: рост, шрам через бровь, седину на висках, ботинки. Так смотрит Марк, от лица вниз, к обуви, будто прикидывает, сколько человек весит и устоит ли. Я так не умею. Я сначала слышу, как человек здоровается, и только потом вижу, во что он одет.

– Марк, – сказала она. – Очень приятно. Я вас по телевизору видела.

Это было сказано без улыбки и без упрёка, просто как факт. Марк кивнул и сказал, что не самая удачная его роль. Геннадий засмеялся слишком громко, и с сосны над воротами сорвалась ворона и улетела, недовольно каркнув.

Дом мама похвалила. Она хвалила его минут двадцать, обходя комнату за комнатой, медленно, держа сумочку на сгибе локтя, и хвалила правильно, со знанием дела: высоту потолков, то, как старый кирпич башни соединили с бетоном и стеклом, вид на залив, полы, свет. Её каблук стучали по каменному полу ровно, размеренно. Она так хвалила когда-то нашу квартиру на Каштановой, когда приезжала её осматривать перед продажей. Как риелтор, который уже прикинул цену.

– А это что за комната? – спросила она про библиотеку.

– Библиотека, – сказал Марк.

– Вы много читаете?

– По-итальянски – медленно.

Мама обернулась и посмотрела на меня. Я сделала вид, что поправляю салфетку на столе.

Бруно всё это время ходил за нами. Тихо, на расстоянии, как приличный пёс. В гостиной, когда мама села на диван у стеклянной стены, за которой лежал залив, серый, спокойный, с белой полосой прибоя у берега, он подошёл и положил голову ей на колено, осторожно, как кладёт мне. Я даже не успела удивиться. Мама не посмотрела на него. Она продолжала говорить с Геннадием про то, что надо бы и им на даче сделать такое окно, только поменьше, и просто чуть отодвинула колено в сторону, как отодвигают от себя пуфик, который мешает. Бруно постоял, подумал и ушёл ко мне на кухню. Лёг у плиты и вздохнул так, что Марк обернулся.

– Ты чего, – сказал ему Марк вполголоса. – Не всем же тебя любить.

Ужин Марк готовил сам. Я ему сказала накануне, что мама не ест ресторанный еду, она считает, что в ресторанах всё пересолено и на старом масле. Он ничего не ответил, а в субботу с утра съездил на рыбный рынок и вернулся с огромной треской, серебристой, с тёмной спиной, завернутой в мокрую бумагу, и пакетом картошки, и весь день что-то делал на кухне, выгнав оттуда меня и даже Корсака. Корсак с выражением лёгкой обиды на лице ушёл на крыльцо и курил там до вечера, глядя на сосны. Треска получилась хорошая. Немного пересоленная, но хорошая. Я ему про соль не сказала. Мама тоже не сказала, хотя по её лицу я видела, что заметила.

К ужину приехал Антон, в пиджаке и с бутылкой вина, которое он долго и с удовольствием описывал Геннадию. Я была ему благодарна. Антон умеет заполнять паузы так, что их перестаёшь замечать. Геннадий оживился, они заговорили про машины, про рыбалку, про то, где лучше ловится судак, в Подмоскovie или здесь. Геннадий пару раз попробовал спросить у Марка про «эту историю с прокурором», осторожно, по-родственному, и оба раза Антон увёл разговор так ловко, что Геннадий сам не понял, как оказался снова на судачке.

За стеклянной стеной гостиной медленно темнело. Залив из серого стал сизым, потом свинцовым, и на соседнем мысу, за дюнами, зажёлся маяк, сначала бледно, почти незаметно в сумерках, потом всё ярче. На длинном столе горели свечи, Марк поставил их сам, я не просила, и их свет отражался в тёмном стекле, так что казалось, что за окном, над водой, висит ещё один стол, с такими же свечами и такими же людьми, только тише.

Мама ела мало. Вино она налила, но не пила, бокал стоял у её тарелки до конца ужина с одним и тем же уровнем, и я поймала себя на том, что смотрю на этот бокал чаще, чем на неё.

– Верочка, – сказала она, когда подали чай. – Я тебе привезла кое-что.

Она достала из сумочки маленькую бархатную коробку, тёмно-синюю, старую, потёртую по углам до белых проплешин. Внутри были серьги, жемчужные, на тонких золотых швензах, и в свете свечей жемчуг казался тёплым, чуть розоватым, как кожа. Я их помнила. Это бабушкины. Мама надевала их на свою свадьбу, на первую, с папой, они есть на всех фотографиях из загса.

– На свадьбу, – сказала мама. – Положено что-то старое.

– Спасибо, – сказала я.

Больше мы ничего друг другу не сказали, и это, кажется, было самое тёплое, что между нами случилось за последние десять лет. Геннадий растроганно засопел. Марк смотрел на маму очень внимательно, и я знала этот его взгляд. Так он смотрит на людей, которых пытается прочесть и пока не может.

После ужина Антон уехал, Геннадий ушёл спать в гостевую, сказав, что после самолёта у него всегда давление. Марк пошёл выводить Бруно. Мы с мамой остались на кухне вдвоём. Она взяла полотенце и стала вытирать тарелки, которые я мыла, и мне вдруг стало смешно и немного больно, потому что так мы стояли последний раз, когда мне было четырнадцать, на нашей тесной кухне на Каштановой, и за окном так же было темно, и вода так же шумела в раковине, и папа где-то в комнате слушал своё итальянское радио.

Я выключила воду.

– Мам. Папа ездил в Геную в ноябре одиннадцатого года.

Она вытерла тарелку до конца, поставила её на стопку и взяла следующую.

– Ездил. Он туда каждый год ездил. Иногда по два раза.

– Что там было, в ноябре?

– Работа, Вера. Что там могло быть. – Она помолчала, секунды четыре. Я посчитала. – Какие-то переговоры, контракты. Он мне никогда не рассказывал подробно, ты же знаешь, у них там была эта их профессиональная тайна. Вернулся злой и уставший. Недельку ни с кем не разговаривал. Потом всё вроде наладилось.

– А потом шторм.

– А потом шторм.

Она поставила тарелку, сложила полотенце вдвое и повесила его на ручку духовки. Аккуратно, уголок к уголку.

– Ты к чему это? – спросила она. Голос был спокойный, совсем обычный.

Я хотела сказать: к тому, что позавчера я слушала его голос в наушниках. К тому, что у меня под столом в коробке лежит его ключ от банковской ячейки в Генуе. К тому, что мне пишут с итальянского номера. Я ничего этого не сказала.

– Просто думаю про него в последнее время. Из-за суда.

– Не надо, – сказала мама. – Вера, послушай. Я сама опознавала обломки. Меня возили в береговую охрану, там лежал кусок борта, белый, с синей полосой и с половиной названия. Тела не было, ты знаешь. Я стояла и смотрела на этот пластик, и мне сказали: распишитесь, что узнаете. Я расписалась. – Она посмотрела мне в глаза, прямо, ровно, и мне на секунду показалось, что она проверяет, как это прозвучало. – Это был его борт. Не надо, Вера. Я пятнадцать лет ничего этого не трогаю. И тебе не советую.

Синяя полоса. Я подумала про фотографию в Цингарелли, про белую яхту с синей полосой по борту, про ярко-синее августовское море вокруг неё, и у меня перехватило горло, так что я отвернулась к раковине и снова включила воду, хотя мыть было уже нечего.

– Хорошо, – сказала я.

– Ну и хорошо, – сказала мама и пошла наверх.

Марк вернулся минут через двадцать. Бруно влетел на кухню, мокрый, с песком на лапах, ткнулся мне в колени и ушёл пить воду, громко лакая из миски. Марк остановился в дверях, снимая куртку. С неё капало, на улице, видимо, начиналась морось.

– Твоя мама меня поймала на лестнице, – сказал он.

– Когда?

– Только что. Я Бруно вытирал внизу, она спустилась. Я думал, за водой.

Он повесил куртку и сел напротив меня за длинный стол. Он так делает, когда хочет говорить серьёзно: садится напротив, а не рядом, кладёт обе руки на стол ладонями вниз. В первый раз, осенью, меня это пугало.

– Она сказала, – Марк чуть нахмурился, вспоминая точно, он тоже теперь старается говорить точно, это у него от меня. – «Марк, вы, кажется, человек, который умеет запрещать. Не позволяйте ей копать. Её отец копал». И ушла.

– И всё?

– И всё. Я не успел спросить, что она имеет в виду. – Он помолчал. – Вер, о чём это?

Он сказал мне это сразу, сам, как услышал, не дожидаясь утра, не прикидывая, как лучше подать. Я смотрела на его руки на столе, большие, с выступающими костяшками, с белым шрамом на запястье, и думала о том, что у меня в квартире под столом лежит конверт, о котором он не знает, а в телефоне два сообщения, о которых он тоже не знает, и что он сейчас сидит и ждёт, что я отвечу ему так же, как он ответил мне.

– Не знаю, – сказала я. – Наверное, про суд. Она думает, что я опять во что-то лезу.

– А ты лезешь?

– Я делаю экспертизу, Марк. Это моя работа.

Он кивнул. Посмотрел на меня ещё секунду, как будто хотел что-то добавить, и не добавил. Встал, налил себе воды, выпил стоя, глядя в тёмное окно, где над заливом мигал маяк.

– Треска была пересоленная, – сказал он, не оборачиваясь.

– Немного.

– Твоя мама заметила.

– Она всё замечает.

– Я понял, – сказал Марк. – Это у вас семейное.

Ночью я не спала. Мы остались на «Маяке», в моей бывшей комнате на верху башни, потому что Марк сказал, что гостям будет неудобно, если хозяева уедут, а я не стала объяснять, что мама прекрасно переживёт. Круглое окно выходило на залив. Туман лёг к полуночи, пришёл с воды медленно, бесшумно, сначала закрыл берег, потом дюны, потом сосны у самого дома, и маяк на соседнем мысу мигал сквозь него раз в шесть секунд, размытым жёлтым пятном. Я считала. Марк уснул почти сразу, он всегда так засыпает после тяжёлого дня, как будто кто-то выдёргивает вилку из розетки. Бруно лежал у двери.

В половине третьего я встала попить. Спустилась по винтовой лестнице босиком, держась за холодные перила, и камень ступеней был ледяной, и где-то внизу в доме тикали часы. Бруно пошёл за мной, стуча когтями по ступенькам, и я шикнула на него, чтобы не разбудил дом.

На кухне было темно. Только с террасы через стеклянную стену падал слабый серый свет, туманный, рассеянный, и в нём всё в кухне казалось бесцветным: стол, стулья, чайник на плите. Я налила воды из-под крана, повернулась и увидела через стеклянную стену террасу.

На террасе стояла мама. В своём светлом пальто поверх ночной рубашки, босая, на мокрых досках. Спина ко мне, лицом к дюнам, к заливу, к тому месту, где пятнадцать лет назад нашли кусок белого борта. Туман клубился вокруг неё, обтекал её фигуру, и в нём она казалась не совсем настоящей, полупрозрачной, как те мраморные женщины на старых кладбищах, которые стоят над чужими могилами. В руке телефон, прижатый к уху. Она говорила очень тихо. Створка двери на террасу была приоткрыта, сантиметров на десять, наверное, чтобы не хлопнула, и в кухню тянуло сыростью и солью.

Я не двигалась. Бруно сел у моей ноги и тоже замер.

– Sì, – сказала мама.

Пауза. Ветер шевельнул полу её пальто, и туман на секунду расступился, и снова сомкнулся.

– Lo so.

Ещё пауза, длиннее. Я считала, по привычке, как на допросе: семь, восемь, девять. Мама переступила с ноги на ногу на холодных досках. Маяк на мысу мигнул, и на мгновение её силуэт стал чётким, тёмным на жёлтом, и снова расплылся.

– Non ancoга, – сказала она. И ещё что-то, совсем тихо, уже не разобрать.

Произношение было книжное, с русскими гласными, с тем открытым «о», которое у нас ставят на первом курсе и потом три года выбивают. Но было в нём и другое. В «lo so» она почти проглотила последний звук, а в «non ancoга» голос пошёл вверх на последнем слоге и повис там, не опустившись. Так поднимают конец фразы в Лигурии. Так поднимал её папа, когда говорил по телефону с Италией и думал, что я не слышу. По учебникам этого не выучишь и по радио тоже. Это перенимают у живого человека, долго, ухом. Для женщины, которая всю жизнь говорила, что не может запомнить по-итальянски даже «спасибо», и смеялась над папой, когда он слушал по вечерам итальянское радио, это было слишком хорошо.

Мама опустила телефон, постояла ещё немного, глядя в туман. Я отступила назад, в темноту, за холодильник, и потянула Бруно за ошейник. Он послушался. Мама вошла, тихо прикрыла створку, прошла через кухню в метре от меня, не включая света, и от неё пахнуло холодом, солью и теми же горьковатыми духами, и поднялась вверх. Ступенька на повороте скрипнула под ней, как скрипит под всеми.

Я ещё долго стояла со стаканом воды. Вода в нём была ледяная, стакан запотел, и пальцы у меня стали мокрыми и холодными. Потом поднялась к себе, села на подоконник круглого окна и записала в дневник при свете телефона: «02:34. Мама, терраса, телефон. Sì. Lo so. Non ancoга. Гласные московские. Интонация лигурийская, подъём на конце. Выучено не по учебнику. С голоса. Чьего?» Посмотрела на последнее слово и подумала, что ответ знаю. И что это, наверное, самое злое, что я когда-либо написала про маму.

Маяк на мысу мигнул. Я посчитала до шести. Он мигнул снова.

Глава 5

Confronto (ит.) – очная ставка. Om fronte, «лоб». Двоих ставят лицом к лицу, лоб в лоб, а правду в итоге обычно говорит третий, тот, кто сидит у стенки и молчит. А. Л.

Бумага от Байкова пришла в понедельник утром, с курьером, в сером казённом конверте, который пах типографской краской и чужим кабинетом. Обвиняемый Шмелёв О. В. через защитника ходатайствует о проведении очной ставки со свидетелем Раевским М. А. в связи с существенными противоречиями в показаниях. Ходатайство удовлетворено. СИЗО №1, среда, одиннадцать ноль-ноль.

– Противоречия, – сказала Эльвира, прочитав. Она сидела у меня в кабинете на элеваторе, у стекла, за которым в утренней дымке медленно проступали краны, и держала бумагу двумя пальцами. – Какие у вас с ним противоречия, мальчик мой? Он говорит, что ты бандит, ты говоришь, что он бандит. Это не противоречие, это консенсус.

– Он хочет меня видеть.

– Он хочет, чтобы ты при Байкове открыл рот. А Байков хочет того же самого, поэтому и разрешил. Два человека в одной комнате мечтают, чтобы ты сказал лишнее. Я третья, и я мечтаю, чтобы ты молчал. Посмотрим, кто кого.

Она сказала, что поедет со мной, и что если я произнесу хоть одно слово, кроме «да», «нет» и «пятьдесят первая», она откажется от меня как от клиента прямо в кабинете следователя, при свидетелях.

Я согласился. Это было нетрудно, я всё равно не собирался ничего говорить.

В СИЗО я не был с декабря. Снаружи он не изменился. Та же серая стена, высокая, глухая, с колючей проволокой поверху, на которой сидели вороны. Та же будка у ворот, с мутным окошком и облупленной синей краской. Тот же прапорщик на входе, который в декабре выдавал мне мои шнурки и ремень обратно и смотрел так, будто я у него что-то украл. Сейчас он меня тоже узнал. Проверил паспорт два раза, медленнее, чем нужно, водя пальцем по строчкам, и вернул, не поднимая глаз.

Внутри пахло так же. Хлоркой, варёной капустой, старой краской и железом. Я думал, что запах забудется, а он, оказываясь, просто ждал, свернувшись где-то в углу памяти, и стоило переступить порог, как он развернулся и заполнил всё. Свет в коридорах был жёлтый, слабый, лампы под решётчатыми колпаками горели через одну, и от этого стены казались ещё ниже, а коридоры ещё длиннее. Мы шли по коридору второго этажа к следственному кабинету, и я поймал себя на том, что смотрю на него так же, как смотрел тогда, когда меня водили на допросы. Как на причал, который надо держать. Ширина метр восемьдесят, двое в ряд не разойдутся. Решётка на лестнице открывается внутрь. На повороте конвойный с задержанным сбавляет шаг, и в этом месте у него заняты обе руки. Я тогда отмечал это каждый раз, ничего с этим не делая. Привычка. Лазарет, где мне зашивали руку, в конце коридора, за второй решёткой. Рука под рукавом на секунду заныла.

Кабинет был маленький, с решёткой на окне, столом, привинченным к полу, и тремя стульями, тоже привинченными. За решёткой было видно кусок двора, серый асфальт в проталинах и угол другого корпуса, такого же серого, с такими же решётками. Байков уже сидел за столом, в том же сером пиджаке, с ноутбуком и диктофоном. Рядом примостился его помощник с папкой. Ветров, адвокат Шмелёва, стоял у окна и разговаривал по телефону вполголоса. Увидел меня, кивнул, как кивают на похоронах дальнему родственнику.

Шмелёва привели через пять минут.

Я видел его в декабре, на суде, в наручниках. Тогда он шёл прямо, и улыбка у него была такая же, как на фотографиях с городских праздников, где он перерезал ленточки и жал руки ветеранам. Сейчас его вели двое конвойных, и он шёл медленнее, чем они, и они под него под-

страивались. Он сильно похудел. Пиджак висел на нём, как на вешалке. Лицо стало жёлтым, восковым, под глазами мешки, щёки ввалились, и от этого нос казался больше. Когда ему расстегнули наручники и он сел, я увидел его руки. Они дрожали. Мелко, постоянно, он положил их на стол, одну на другую, и они всё равно дрожали, и он, кажется, уже перестал это замечать.

– Марк Александрович, – сказал он. – Здравствуйте.

Голос был прежний. Мягкий, чуть хрипловатый, с теми отеческими интонациями, от которых взрослые мужики в его кабинете начинали каяться раньше, чем их об этом просили. Голос он сохранил. Всё остальное у него отобрали, а голос оставили. Я подумал, что это, наверное, нечестно, и что для таких, как он, голос и есть главное.

Я ничего не ответил. Эльвира рядом со мной чуть шевельнулась, одобрительно.

Байков вёл очную ставку сорок минут. Задавал вопросы по протоколу, сначала мне, потом ему, про контракты с «Нордлайном», про седьмой причал, про ночь, когда убили Лапина. Я отвечал «пятьдесят первая». Шмелёв отвечал «пятьдесят первая». Ветров и Эльвира по очереди делали заявления, помощник записывал, и его ручка громко шуршала по бумаге в тишине. Байков не злился. Он задавал следующий вопрос так, будто предыдущий получил развёрнутый ответ. Один раз он спросил Шмелёва, с кем тот согласовывал график захода судов «Нордлайна» в две тысячи одиннадцатом году, и Шмелёв, прежде чем сказать «пятьдесят первая», посмотрел на меня. Совсем коротко. Как смотрят, проверяя, слушаю ли я.

Я слушал. В две тысячи одиннадцатом мне было двадцать четыре года, и Лиза была уже три года как мертва, и я строил порт, и седьмой причал ещё не был моим.

За окном пошёл снег. Мелкий, редкий, мокрый, он падал наискось на серый двор и таял, не долетая до асфальта, и я смотрел на него, потому что больше смотреть было некуда.

В одиннадцать сорок две Байков выключил диктофон и сказал, что очная ставка окончена. Помощник протянул протокол на подпись. Эльвира взяла его первой и стала читать, как она всегда читает, каждое слово, водя по строчкам тупым концом ручки. Ветров ушёл в коридор звонить. Конвойные подошли к Шмелёву. Он встал, медленно, опираясь на стол, и протянул им руки. Щёлкнули наручники.

Его повели к двери. Чтобы выйти, им надо было пройти мимо меня, между моим стулом и стеной, там было сантиметров семьдесят. Конвойный шёл первым, второй сзади. Поравнявшись со мной, Шмелёв запнулся, совсем немного, по-стариковски, и конвойный сзади придержал его за локоть.

И за эти две секунды он наклонился ко мне и сказал. Очень тихо, почти не шевеля губами, ровно в ухо. Я сидел, он стоял, ему было удобно. От него пахло больничным мылом и чем-то кислым, лекарственным.

– «Нордлайн» был вывеской, Марк Александрович. Хозяйка в Генуе. А голос у неё – отец вашей невесты.

Конвойный потянул его за локоть. Шмелёв выпрямился и сделал ещё шаг, а потом, уже почти у двери, обернулся и сказал чуть громче, с той же мягкой улыбкой, обычным голосом, каким желают здоровья:

– Она знает это три недели. Вам она сказала?

Дверь закрылась. Лязгнул засов.

Эльвира подняла голову от протокола.

– Что он сказал?

– Пожелал счастья в семейной жизни.

Байков смотрел на меня от стола. Диктофон у него был выключен, но я не сомневался, что в этом кабинете пишет что-нибудь ещё. Он, наверное, тоже не расслышал первую часть. Вторую расслышали все.

– Что именно знает ваша невеста, Марк Александрович? – спросил он вежливо.

– Как я готовлю треску, – сказал я.

Эльвира посмотрела на меня с таким выражением, что я понял, вечером она мне это припомнит. Но она расписалась в протоколе, я расписался тоже, Байков пожал нам руки и сказал, что был рад, и что, возможно, мы скоро снова увидимся. Он всегда так говорит. Я пока ни разу не видел, чтобы он ошибся.

Мы вышли. Коридор, поворот, решётка. Прапорщик на выходе. Ворота. Снег на улице пошёл гуще, крупными мокрыми хлопьями, и они ложились на плечи пальто и сразу темнели, превращаясь в воду.

Я дошёл до машины ровным шагом. Корсак стоял у открытой двери, курил, увидел нас, бросил сигарету в лужу, и она зашипела. Эльвира сказала, что у неё в два суд, что она возьмёт такси и что я идиот, но держался прилично. Пожала мне руку. Я сказал ей спасибо. Сел на заднее сиденье. Корсак закрыл дверь и сел за руль.

– На косу? – спросил он.

– Да.

Мы проехали мост, промзону, развязку. Город за окном был серый и мокрый, дворники на лобовом стекле ходили туда-сюда с тихим резиновым стоном, и в их ритме было что-то от метронома, от того, как Вера считает до шести, глядя на маяк. Потом город кончился, пошли поля, белые с чёрными проплешинами, и голые берёзы, и потом сосны, рыжие, тёмные, мокрые. Я смотрел на руки. Они лежали на коленях, и я не сразу понял, что сжимаю левой правую так, что под ногтями побелело. Я разжал. Через несколько минут они сжались снова.

Отец вашей невесты.

Андрей Лисовский утонул пятнадцать лет назад. Я это знал так же, как знал, сколько метров у седьмого причала. Вера рассказывала мне об этом на террасе в ноябре, ночью, когда у нас ещё было правило не прикасаться, и она плакала, а я стоял рядом и не мог её обнять. Шмелёв в своём кабинете держал его фотографию на полке. Шмелёв был последний человек в этом городе, которому я поверил бы, если бы он сказал, что идёт дождь.

И я поверил. Не ему. Себе.

Лист под принтером. «Голос идентифицирован как голос...» и дальше чёрная дыра, процарапанная ручкой до дыр в бумаге. Её рука на кармане пальто, на ступенях суда. То, как она отвернулась к раковине в субботу, когда её мать спустилась сверху. «Наверное, про суд». Три недели или три дня, я не знал. Шмелёв мог врать про сроки, он врал про всё. Но лист я видел сам.

Я сидел на заднем сиденье и думал о том, что за двадцать лет научился читать людей лучше, чем книги, и что рядом со мной три месяца живёт человек, которого я, оказывается, не читал вообще. Или читал и не хотел понимать. Это было хуже.

– Марк Александрович, – сказал Корсак, глядя в зеркало. – Вы в порядке?

– Нормально. Смотри на дорогу.

Он стал смотреть на дорогу.

На «Маяк» мы приехали в начале третьего. Снег здесь, на косе, не шёл, здесь висел туман, низкий, сырой, он лежал на дюнах, и из него торчали верхушки сосен и тёмная башня «Маяка», и стеклянный дом, пристроенный к ней, отражал этот туман и сам казался сделанным из него. Вера сказала утром, что будет работать дома, у меня, потому что тут тише и её никто не дёргает. Машина её стояла у гаража, на лобовом стекле лежали мокрые сосновые иголки. Бруно встретил меня у двери и почему-то не прыгнул, а просто постоял, глядя снизу, и пошёл впереди, оглядываясь, как будто хотел, чтобы я за ним шёл.

Он привёл меня в библиотеку.

Вера спала в кресле у окна. Сидя, поджав ноги, щекой на спинке. Горела настольная лампа, хотя на улице было ещё светло, и её жёлтый круг лежал на Вериных коленях, на её руках, на тёмных волосах, упавших на лицо, а за окном за её спиной стоял серый туман, плотный, неподвижный, и от этого казалось, что кресло с лампой висит в пустоте. На коленях у неё

лежала тетрадь в коричневой коже, раскрытая, страницами вниз, корешком вверх. На торце было вытиснено: «Италия. Генуя – Неаполь». Рядом, на подлокотнике, её рабочий дневник и ручка без колпачка. Колпачок был у неё в кулаке. Она его так и не выпустила.

Я постоял в дверях.

Тетрадь я знал. Она показывала мне её в ноябре, когда нашла «samallo». Тогда она дрожала и смеялась одновременно, и я думал, что ничего важнее этого слова в нашей истории уже не будет. Потом она её убрала, и я больше её не видел. Я не знал, что она привезла её сюда.

Можно было подойти. Взять тетрадь с её колен, осторожно, она бы не проснулась, она спит крепко, когда наконец засыпает. Перевернуть. Посмотреть, на какой странице она уснула. Это было бы три секунды.

Я не подошёл.

У меня в сейфе год лежала папка про неё. Толстая, Корсак собирал её два месяца. Я её ни разу не открыл. В декабре я её сжёг, при Вере, в камине, и Вера смотрела, как она горит, как сворачиваются и чернеют листы, как огонь лижет её имя на корешке, и ничего не сказала. Я тогда думал, что это и есть граница. Что граница – это бумага, которую я не трогаю.

Плед лежал на соседнем диване, серый, клетчатый, который она любила. Я хотел накрыть её, у неё мёрзли ноги, она всегда мёрзнет, когда засыпает не в кровати. Но тогда пришлось бы наклониться над тетрадью. И я не был уверен, что, наклонившись, не посмотрю.

Я выключил верхний свет, который она не включала, и вышел. Бруно остался. Лёг у её кресла, в жёлтый круг от лампы, и положил морду на лапы.

Корсак стоял на крыльце и курил. Он почти всегда курит на крыльце, когда ждёт, это у него вместо разговоров. Туман над дюнами опять густел, сосны стояли в нём по колено, и где-то в его глубине капало с веток, тихо, редко. Я вышел и встал рядом. Он протянул мне пачку, я покачал головой. Я бросил курить в двадцать один год, в тот месяц, когда хоронили Лизу.

Мы постояли молча. Где-то за дюнами гудел паром, долго, низко, и звук этот плыл через туман медленно.

– Ян, – сказал я.

– Да.

– Следи за ней.

Корсак не повернулся. Затянулся, выпустил дым, и дым сразу смешался с туманом, и стало не понять, где одно, где другое. Посмотрел на кончик сигареты.

– За кем?

– Ты понял.

– Я понял, – сказал он. – Я хочу, чтобы вы сказали.

– За Верой. Куда ездит, с кем говорит, кто ей звонит. Ради её безопасности. Я сегодня узнал вещь, которая... – Я остановился, потому что дальше не знал, как сказать, чтобы не сказать лишнего даже ему. – Там может быть опасно. Она сама не скажет.

Корсак докурил до фильтра. Потушил сигарету о перила, аккуратно, и положил окурочек в карман куртки, он никогда не бросает их у меня на территории. Потом наконец посмотрел на меня.

– Это уже было, – сказал он.

Он сказал это ровно, без упрёка, как говорят «на улице дождь». И мне не нужно было спрашивать, что именно было. В ту ночь, в октябре, он стоял под её домом на Каштановой и смотрел на окна мансарды, потому что я велел ему смотреть и не вмешиваться. Он смотрел, пока не пошёл дым. Он мне потом рассказывал, что всю дорогу до «Маяка» не мог разжать руки на руле.

– Это другое, – сказал я.

Корсак ничего не ответил.

– Тогда я ждал, что она придёт, – сказал я. – А сейчас я просто хочу знать, что она жива и что к ней никто не подходит. Ничего не делать. Ни во что не лезть. Только знать.

– Тогда вы тоже говорили «только знать».

Я посмотрел на него. Он выдержал. Он единственный в моём окружении, кто это выдерживает, и я его за это держу пятнадцать лет и, наверное, за это же иногда ненавижу.

– Выполняй, – сказал я.

Корсак постоял ещё секунду. Потом кивнул, коротко, одним подбородком, как кивал мне всегда, когда приказ ему не нравился, но был приказом. Застегнул куртку и пошёл к машине. Я слышал, как он завёл мотор и как машина медленно, без фар, выкатилась за ворота, и туман сомкнулся за ней, и звук мотора утонул в нём.

Я остался на крыльце. Туман дошёл до ступенек. За стеклом библиотеки горела её лампа, жёлтым пятном, размытым, будто сквозь мокрое стекло, и Бруно лежал в этом пятне.

Я сказал себе, что это ради её безопасности. Я сказал себе это два раза, второй раз почти вслух. Это было правдой, и я это знал, и именно поэтому мне было так легко это себе сказать.

Потом я пошёл в дом, сел на кухне за длинный стол и ждал, когда она проснётся и спустится. Я решил, что, если она спустится и сама скажет, я позвоню Корсаку и всё отменю. За окном кухни туман медленно темнел, из серого становился сизым, и на соседнем мысу, сквозь него, слабо и неуверенно, зажёгся маяк. Она спустилась в половине пятого, сонная, с отпечатком спинки кресла на щеке, тёплая, пахнувшая сном и старой бумагой, поцеловала меня в макушку, спросила, как прошла очная ставка.

– Скучно, – сказал я. – Он всё время молчал.

– Он умеет, – сказала она и пошла ставить чайник.

Тетради у неё в руках не было.

Глава 6

Ultima parola (ит.) – последнее слово. В итальянском процессе оно тоже остаётся за подсудимым. Странное право: тебя к этому моменту выслушали все, кроме тебя самого, и решение у судьи обычно уже в голове. А. Л.

Ниже, карандашом: «Ему не дали договорить».

В четверг вечером я сама позвонила Гореловой. Я сидела над переводом договора фрахта и третий час не могла понять, что генуэзский юрист имел в виду под «*clausola di gradimento*», а на самом деле третий день думала только о том, как Шмелёв улыбнулся мне из «аквариума» одними губами. Он знал что-то, чего не знала я. И он был единственный человек в городе, который мог мне это сказать, не спрашивая, зачем мне это нужно. За окном уже стемнело, на канале горели фонари, и в круглом стекле отражалась настольная лампа, словари, мои руки над клавиатурой и я сама, бледная, с карандашом за ухом.

– Ирина Сергеевна, – сказала я, когда она ответила. – Мне нужна беседа со Шмелёвым. Как с потерпевшей. Я у вас потерпевшая по поджогу и по фальсификации, повод есть.

Горелова долго молчала. Я слышала, как у неё в кабинете гудит чайник, тот самый, из ноября, который она так и не поменяла.

– Странно, – сказала она наконец своим обычным голосом, в котором всегда было слышно, что она говорит из кабинета и что дверь закрыта неплотно. – Ветров сегодня днём принёс ходатайство. Шмелёв просит о том же. О встрече с вами. Вы с ним договорились?

– Нет.

– Значит, вы оба хотите одного и того же разговора. Мне это не нравится. Когда двое хотят одного разговора, кто-то из них хочет его сильнее и знает зачем.

– Я знаю зачем, – сказала я.

– Я думаю, что он что-то хочет сказать и что он скажет это только вам. – Она вздохнула.

– И ещё я думаю, что если вы пойдёте, я буду стоять у двери и мне это не понравится.

– Завтра?

– Завтра в десять. СИЗО, следственный кабинет. Я вас проведу.

Марку я сказала, что еду к Гореловой подписывать протоколы по пожару. Это была почти правда, протоколы я действительно потом подписала. Он кивнул, сказал, что у него в десять опять аудиторы, а вечером он, наверное, задержится в порту, и спросил, не нужно ли меня отвезти. Я сказала, что возьму такси. Он не стал настаивать. После очной ставки он вообще стал какой-то тихий, не мрачный, а именно тихий, и пару раз я ловила его взгляд на себе, когда он думал, что я не вижу. Я списывала это на Шмелёва. Он сказал, что Шмелёв всё время молчал, и я подумала, что молчащий Шмелёв, наверное, тяжелее говорящего.

Утро было холодное и прозрачное, какие бывают в марте после ночного заморозка, когда лужи затягивает тонким льдом, и он хрустит под ногами, а небо над городом бледно-голубое, высокое, будто вымытое. Такси ехало через мост, и солнце било в лобовое стекло, низкое, ещё не греющее, и таксист опустил козырёк и что-то бормотал про то, что весны в этом году не будет. Я дважды видела в зеркале серую машину, обычную, каких в городе сотни. Один раз за мостом, второй раз у развязки. Потом она куда-то свернула, и я про неё забыла.

Горелова ждала меня у ворот, в тёмной куртке, с папкой под мышкой. За зиму она похудела ещё больше и стала коротко стричься, почти как я, и когда мы шли рядом по коридору, конвойный на посту посмотрел на нас так, будто мы сёстры. Коридоры здесь были длинные, жёлтые, с облупленной краской на стенах, и наши шаги отдавались в них гулко, будто за нами шёл кто-то ещё. Нас провели на второй этаж. Горелова считала двери шёпотом. Я сначала не поняла, что она делает, а потом поняла, что так здесь делают все, кто ходит по этим коридорам слишком часто, и мне стало не по себе.

Кабинет был маленький, с решёткой на окне и столом, привинченным к полу. Сквозь решётку падало утреннее солнце, и на столе от него лежали полосы, светлые и тёмные, ровные. Шмелёва уже привели. Он сидел за столом, руки на столе, наручники с него сняли. Конвойный стоял у двери снаружи, дверь была приоткрыта.

Он поднялся, когда я вошла. Медленно, держась рукой за край стола. И я увидела, как его изменили эти три месяца, увидела сразу всё, и жёлтую кожу, и запавшие щёки, и руки, которые мелко дрожали, даже когда лежали на столе, в полосе солнечного света. В суде, из-за стекла, этого не было так видно. В суде я на него старалась не смотреть.

– Верочка, – сказал он. – Спасибо, что пришла.

– Здравствуйте, Олег Викторович.

Он чуть поморщился от отчества, но ничего не сказал. Посмотрел на Горелову.

– Ирина Сергеевна, вы не могли бы...

– Не могла бы, – сказала Горелова. – Я буду здесь. У двери. Протокол не веду, диктофон выключен, можете проверить. Но я буду здесь.

Шмелёв пожал плечами, как будто это его не очень касалось, и сел. Я села напротив. Стол был холодный. Я положила руки на колени, под стол, чтобы он не видел, что я сжимаю ручку.

– Ты похудела, – сказал он.

– Вы тоже.

Он улыбнулся. Той же улыбкой, что в суде, одними губами.

– Я тебя позвал, потому что меня тут скоро не будет, – сказал он. – Нет, не смотри так, я не про суд. Суд это долго, а у меня сердце. И не только сердце, Верочка. Тут много людей, которым будет спокойнее, если я ничего не скажу. Я это понимаю, я сам таких людей всю жизнь собирал. – Он помолчал. – А ты в понедельник в суде узнала голос.

Я ничего не ответила.

– Узнала, – сказал он, как будто я ответила. – Я видел. Ты в семь лет врала про чашку точно так же. Смотрела в одну точку и говорила очень ровно. Андрей тогда смеялся и говорил, что ты будешь хорошим переводчиком, потому что умеешь не показывать лицо.

– Чего вы хотите?

– Рассказать, – сказал Шмелёв. – Ты всё равно будешь копать. Ты такая же, как он. Лучше уж от меня, чем от них.

Он рассказывал минут двадцать. Я потом пыталась восстановить по памяти дословно, как привыкла, и не смогла. Помню куски. Помню, что он говорил спокойно, без пауз, как рассказывают историю, которую давно сложили в голове и много раз проговаривали самому себе по ночам, лёжа на нарах и глядя в потолок. Помню, что солнечные полосы на столе медленно ползли, пока он говорил, и в какой-то момент одна из них легла ему на руки, и я видела, какие они старые, в пигментных пятнах, с выпуклыми синими венами.

В ноябре одиннадцатого года он поехал в Геную. Тогда он ещё был районным прокурором, но уже знал людей, которые хотели возить через наш порт то, что нельзя возить. Людей звали Пароди. Он произнёс эту фамилию так, как произносят название болезни. Ему нужен был переводчик, которому он мог доверять, и он взял папу.

– Я его взял, потому что он был мой друг, – сказал Шмелёв. – И потому что он был лучший. Это не противоречит друг другу, Верочка. В нашем деле лучших всегда берут из друзей, а потом жалеют.

Переговоры шли два дня. На второй вечер Андрей сделал одну вещь, которую делать было нельзя. Что именно, Шмелёв не знал. Папа ему так и не сказал, сказал только, что открыл рот там, где переводчику положено молчать.

– А на следующую ночь он что-то увидел. – Шмелёв посмотрел на свои руки. – Пришёл в гостиницу мокрый, в пальто, сел на кровать и сказал: «Олег, я видел». Что видел, не сказал.

Я не спрашивал. В нашем деле лучше не знать, что видел твой переводчик. Утром ему уже объяснили, что он видел, лучше меня.

Я сидела и держала ручку под столом. Колпачок щёлкнул. Горелова у двери повернула голову.

– Пароди предложили ему выбор, – сказал Шмелёв. – Они вообще любят предлагать выбор, это у них такая вежливость. Умереть по-настоящему. Или умереть так, чтобы все поверили, и дальше работать на них. Голосом. Ему, Верочка, предложили стать их голосом. Ты понимаешь, какой это подарок для переводчика.

– И он выбрал.

– Он выбрал вас. Тебя и Люду. – Шмелёв поднял на меня глаза. – Если бы он умер по-настоящему, они бы не успокоились. Они бы проверяли, кому он что успел рассказать. Жене. Дочери. А так у них был живой Андрей, которому было что терять. И был я. Я тут, в Зееграде, присматриваю.

– Шторм, – сказала я.

– Шторм был настоящий, – сказал Шмелёв. – Я только выбрал день. Остальное было делом техники, Верочка, а техника – это скучно. Люда расписалась.

Я подумала про маму в береговой охране, про белый пластик с синей полосой. «Меня возили, и я расписалась». Она сказала это так спокойно, вытирая тарелку моим полотенцем. Я хотела спросить, знала ли она, и не спросила, потому что боялась, что он ответит.

– А я, – спросила я вместо этого. – Я была кто?

Шмелёв долго молчал. Руки у него на столе дрожали, он посмотрел на них и убрал под стол, как я.

– Ты была гарантией, – сказал он. – Пароди должны были знать, что Андрей никогда не заговорит. А он бы не заговорил, пока ты у меня на глазах. Я тебя устроил на курсы, я тебя рекомендовал в суды, я к тебе на день рождения ходил с тортом, ты помнишь. Это всё было правда, Верочка. Я тебя любил. Я тебя растил как своего ребёнка. – Он улыбнулся, и от этой улыбки мне стало холодно в коленях. – Я растил тебя как заложника, сделанного из любви. Одно другому не мешает. Я тебе ни разу в жизни не соврал. Я просто не всё говорил.

Я сидела и смотрела на него. Я думала о том, что последнюю неделю делаю ровно то же самое, слово в слово. Не вру, просто не всё говорю. Марку, маме, Эльвире, суду. И что этот человек, который сейчас сидит передо мной в чужом пиджаке, в полосах тюремного солнца, только что сформулировал это лучше, чем я сама.

– Зачем вы мне это рассказываете? – спросила я. Голос у меня был ровный, я его слышала.

– Затем, что ты думаешь, что тебя подставили, а тебя выбрали, – сказал Шмелёв. – Помнишь допрос Феррары в октябре? Кто его переводил, решал не я. Мне позвонили из Генуи и сказали: пусть переводит Лисовская. Я удивился. Подумал, это у Андрея слабость, хочет, чтобы дочка заработала, чтобы её фамилию в деле видели. Глупость какая-то сентиментальная. Я согласился, мне было удобно, у тебя репутация, протоколу поверят.

Он наклонился ко мне через стол.

– Это он сам попросил, Верочка. Чтобы переводила ты. Он знал, что ты услышишь. Ты одна в этом городе слышала живого Луку и потом могла слышать мёртвого. Мы все думали, что это его слабость. А это было его слово. Он пятнадцать лет говорил чужими словами, и одно слово всё-таки сказал своё. Тебе.

У меня зазвенело в ушах. Так бывает, когда в наушниках резко добавляют громкость.

– Он знал, что меня должны убить, – сказала я.

– Он просил тебя не трогать, – сказал Шмелёв. – Его не послушали. Это тоже правда. У тебя теперь много правды, Верочка, выбирай, какая нравится.

Он откинулся на спинку стула. Ему, кажется, было трудно дышать, он дышал ртом, коротко, с присвистом, и на лбу у него выступили мелкие капли пота. Горелова у двери сделала шаг к нам, и он махнул ей рукой: ничего, ничего.

– И Люда, – сказал он, отдышавшись. – Ты на неё не злишься. Она сделала то, что могла. Она тоже не всё говорила. Твоя мать каждое первое число получала...

Дверь распахнулась.

– Шмелёв, время, – сказал конвойный. Не тот, что стоял, а другой, старший, с красным лицом, я его раньше не видела. – Обход. На выход.

– Пять минут, – сказала Горелова.

– Никаких пяти минут, товарищ следователь, у меня обход по графику. Шмелёв, руки.

Шмелёв посмотрел на него, потом на меня. Протянул руки. Щёлкнули наручники. Конвойный взял его под локоть и поднял со стула, не грубо, но так, что сопротивляться было бессмысленно.

– Олег Викторович, – сказала я. – Что получала?

Он обернулся у двери. Открыл рот. Конвойный дёрнул его за локоть, и он, кажется, передумал. Улыбнулся мне. Без губ, на этот раз только глазами, и это было почему-то хуже.

– Андрей бы тобой гордился, – сказал он. – Как никто.

Дверь закрылась.

Мы с Гореловой ещё минут пять сидели в пустом кабинете. Она стояла у окна, я сидела за столом и смотрела на то место, где лежали его руки. Солнечные полосы уже уползли с этого места на пол, и стол там был пустой, серый, с царапинами, которые кто-то когда-то оставил ногтями или ручкой, и я разглядела среди них чьи-то буквы, неразборчивые, давние. Потом Горелова сказала:

– Вы этого конвойного знаете?

– Нет.

– Я тоже. – Она достала телефон, что-то записала. – Это не его смена. Я тут бываю каждую неделю, у меня все смены в голове.

Потом мы подписали протоколы по пожару. Те самые, которые я обещала Марку подписать.

Домой я ехала на трамвае, хотя Горелова предлагала довезти. Мне надо было, чтобы вокруг были люди, которые ничего про это не знают. Трамвай был полупустой, тёплый, с запотевшими окнами, и пах мокрой резиной и чьими-то духами. Женщина напротив ругалась по телефону с сыном из-за какой-то куртки. Двое школьников на задней площадке смотрели видео и ржали. Я протёрла ладонью окно и смотрела на канал, на лёд у берегов, на старые дома, освещённые холодным мартовским солнцем, и думала про маму. Каждое первое число. Чего? Писем? Звонков? Денег? Я вспомнила, как мы жили после папы, первые два года, ещё до Геннадия. Мама не работала. Мы не продали машину. Я поступила в Петербург, на платное, потому что на бюджет не добрала двух баллов, и мама сказала, что заплатит, и заплатила. Я тогда не задумывалась, откуда деньги. Мне было семнадцать, я думала, у взрослых деньги просто есть.

В дневнике я записала разговор. Не дословно, по памяти, кусками, и на полях поставила знак вопроса, как папа ставил в словарях. Марку не позвонила. Он прислал в восемь сообщение, что застрял с аудиторами и приедет поздно или не приедет, если я не против. Я написала, что не против. Отправила и подумала, что ещё неделю назад меня бы это расстроило.

Спала я плохо. Снился седьмой причал, контейнеры, мокрый бетон, жёлтый фонарь, в свете которого косо летел дождь, и какой-то человек в пальто, который стоял ко мне спиной, и я никак не могла обойти его, чтобы посмотреть в лицо. Я обходила, а он поворачивался вместе со мной, медленно, и всё время оставался спиной.

Телефон зазвонил в шесть ноль восемь. За окном было ещё серо, предрассветно, и фонари на канале горели бледно, устало, будто тоже не спали всю ночь. Горелова.

– Вера Андреевна. – Голос у неё был совсем без интонаций. – Шмелёв умер.

Я села в кровати.

– Когда?

– Ночью. Нашли в четыре двадцать на обходе. Врач говорит, сердце. Предварительно. – Она помолчала. – На плече след, похожий на укол. Ему вчера вечером ставили капельницу в медчасти, так что может быть и от неё. А может быть и нет. Вскрытие будет днём.

Я молчала. Я вдруг очень ясно вспомнила его руки на столе, в полосе солнечного света, старые, в пятнах, как он убрал их под стол, как я.

– Тот конвойный, – сказала я.

– Я уже спросила. Говорят, подменял заболевшего. Ничего необычного. Смена как смена. – Горелова вздохнула. – Вера Андреевна, я вам ещё кое-что пришло. Мне это из камеры сфотографировали, пока они там всё не прибрали. Посмотрите сами, мне кажется, это вам.

Она отключилась. Через минуту пришло фото.

Камерный стол, металлический, с облупленной краской. Кружка, пустая, с тёмным кольцом от чая на дне. Очки, сложенные дужками вниз. И лист бумаги, обычный, в клетку, вырванный, видимо, из тетради, которую ему разрешали держать для записей к защите. На листе одно слово, крупно, синей ручкой, с нажимом.

«Lanterna».

Почерк я узнала сразу. Шмелёв двадцать пять лет подписывал мне открытки на день рождения. Каждый год одно и то же: «Верочке, с любовью. Твой дядя Олег». Буква «L» у него всегда начиналась с маленькой петли внизу, как будто ручка сначала спотыкалась, а потом уже шла вверх. Здесь была та же петля.

Я увеличила фото. Буквы шли ровно, синие, с нажимом, и только последняя «а» была почти бесцветной. Паста кончилась на ней. Он не взял другую ручку, он дописал эту букву пустым стержнем, вдавливая его в бумагу, так что от неё осталась одна борозда, без цвета, видная только по тени. Внизу, у самого края листа, были короткие синие штрихи. Я сначала приняла их за цифры, а потом поняла, что это он расписывал ручку, прежде чем начать.

Я положила телефон на одеяло. За круглым окном светлело, небо над крышами на той стороне канала из серого становилось бледно-розовым, а потом золотым по краю, и по каналу шёл первый катер, оставляя за собой на тёмной воде длинный светлый след, который медленно расходился к берегам. На мосту кто-то кричал на чаек. Я сидела и думала, что вчера утром он сказал «меня тут скоро не будет» и что я решила, что он хочет меня разжалобить.

Потом я открыла дневник и записала: «06:08. Шмелёв умер. 04:20. Сердце (?). След на плече. Lanterna».

Слово было итальянское. «Фонарь». И ещё маяк в Генуе, который стоит там с двенадцатого века и который папа обещал мне когда-нибудь показать.

Глава 7

Interprete (um.) – переводчик. И ещё исполнитель роли: interpretare Amleto – играть Гамлета. Итальянцы честнее нас, они сразу признают, что переводчик играет. Хороший играет так, что его не видно. А. Л.

Ниже, карандашом: «Марк сказал, что девочку у Пароди он поймал на третьей фразе. Я им горжусь, и мне от этого почему-то грустно».

Про Шмелёва я узнал в субботу в половине восьмого утра от Эльвиры. Я стоял у стеклянной стены в гостиной на «Маяке» с первой чашкой кофе, и за стеклом над заливом медленно поднималось солнце, бледное, мартовское, и туман над водой розовел, отрываясь от поверхности клочьями. Она позвонила, сказала «он умер» и замолчала, ожидая, что я что-нибудь скажу. Я ничего не сказал. Тогда она сказала, что Байков уже на ногах, что вскрытие днём, что в СИЗО полно народу из Москвы и что если меня кто-нибудь спросит, где я был ночью, я был дома, с собакой, и собака подтвердит.

– Я был в порту до двух, – сказал я.

– Тем лучше. Там камеры. Твои же, которые ты сам повесил для аудиторов. Хоть какая-то от них польза.

Вера позвонила через полчаса. Сказала, что ей сообщила Горелова. Голос у неё был ровный, слишком ровный, и я подумал, что так она, наверное, говорит в суде, когда переводит что-то страшное. Я спросил, как она. Она сказала, что нормально, просто странно, что человек, которого она знала всю жизнь, вот так. Я спросил, не приехать ли. Она сказала, что не надо, у неё перевод к понедельнику.

Я не поехал. Я сидел на кухне на «Маяке», пил кофе и смотрел, как Бруно гоняет по дюнам чайку, которая каждый раз отлетала ровно настолько, чтобы он не мог её достать. Песок на дюнах после ночного заморозка был серый, жёсткий, и Бруно оставлял на нём глубокие тёмные следы, петлями. В четверг Шмелёв наклонился ко мне в кабинете и сказал про её отца. В пятницу он умер. Я не верю в совпадения, у меня профессия такая, я в порту двадцать лет и ни одного совпадения ни разу не видел. Всё, что выглядит как совпадение, кто-то когда-то спланировал.

В воскресенье мы с Верой гуляли с Бруно по косе, и она почти не говорила. Ветер был сильный, с моря, он трепал ей волосы и забивал рот, и мы шли вдоль кромки воды, где песок мокрый и плотный, и волны накатывали и отступали, оставляя за собой пену и водоросли. Один раз она спросила, знаю ли я, что такое «Лантерна». Я сказал, что это компания, которая скупает контракты «Нордлайна». Она кивнула и сказала, что ещё это маяк в Генуе. Больше мы об этом не говорили.

Никколò Пароди прилетел в понедельник. Про визит Антону сообщили в пятницу, письмом на бланке Lanterna Shipping, с просьбой о встрече с руководством холдинга «по вопросу взаимовыгодного сотрудничества в связи с изменившейся ситуацией на рынке». Антон прочитал мне это вслух и сказал, что за такой оборот в письме он бы лично увольнял. Я сказал, что пусть приезжает. Мне было интересно посмотреть на того, кто пишет «изменившаяся ситуация на рынке» через неделю после того, как его страховой клуб перекрыл мне половину Средиземного моря.

Он пришёл в одиннадцать, ровно. Это я про себя отметил. Итальянцы, с которыми я работал, всегда опаздывали минут на двадцать и считали это вежливостью.

Ему было лет тридцать пять. Высокий, худой, тёмные волосы зачёсаны назад, костюм синий, сидел так, как сидит только то, что шили на тебя. Он вошёл в переговорную так, как входят люди, которые с детства знают, что любая комната, в которую они входят, рада их видеть. Ботинки хорошие и при этом ношенные, не новые. Это мне не понравилось. Человек, который

носит хорошие ботинки до потёртостей, знает, сколько они стоят, и не собирается их менять ради впечатления. С ним был юрист, пожилой, седой, который за всю встречу не сказал ни слова, и переводчица.

Переводчица была молодая, лет двадцать пять, светлая, в очках, из какого-то московского агентства. Звали Кристина. Она очень старалась. Это было видно по тому, как она держала блокнот, обеими руками, у груди, как держат что-то, что могут отнять.

В левом ухе у Никколò был наушник. Маленький, телесного цвета, его почти не было видно, если специально не смотреть. Я смотрел специально. Корсак, когда они проходили через проходную, сказал мне по рации одно слово: «Связь». Значит, кто-то его слушал. Значит, кто-то ему подсказывал.

Мы сели в переговорной на третьем этаже элеватора. Окно на порт, длинный стол, вода в бутылках. За окном был пасмурный день, низкое серое небо лежало на кранах, и по стеклу ползли редкие капли. Антон рядом со мной, их трое напротив.

Никколò начал по-итальянски. Говорил медленно, давая Кристине время, и улыбался. Улыбка у него была хорошая, тёплая, такая, какую в детстве ставят на семейных фотографиях. Улыбался он мне, а смотрел чуть мимо, в окно, на краны. Он рассказал, что Lanterna Shipping молодая компания с очень старыми корнями, что за его семьёй двести лет генуэзского судостроения, что они всегда уважали Балтику и особенно Зееград. Что в связи с известными событиями контракты «Нордлайна» оказались, как он выразился, «сиротами», и что Lanterna взяла их под опеку, чтобы рынок не пострадал.

Кристина переводила хорошо. Гладко, грамотно. Но после Веры я слышу, как переводят, даже если не понимаю всех слов. Вера полгода гоняла меня по итальянскому каждый вечер, сначала в шутку, потом всерьёз, и я многого не понимаю, но кое-что понимаю. И на третьей фразе Никколò сказал «il russo», чуть кивнув в мою сторону, сказал так, как говорят про мебель, которую собираются передвинуть. А Кристина перевела: «господин Раевский». Вежливо. Правильно, наверное, с её точки зрения.

Я посмотрел на неё. Она покраснела и уткнулась в блокнот. Поняла, что я понял.

Никколò, кажется, тоже заметил. Улыбка у него стала чуть шире.

Дальше он перешёл к делу. Он знает о моих трудностях. Проверка из Москвы, следствие, страховой клуб. Он искренне сочувствует. Он видел моё выступление на ступенях суда и, как человек, считает его мужественным, но как бизнесмен вынужден признать, что оно было неосторожным. Европейские партнёры очень чувствительны к таким вещам. Особенно генуэзские.

– Синьор Пароди считает, – переводила Кристина, – что в сложившейся ситуации холдингу «Северная гавань» нужен партнёр из Евросоюза с безупречной репутацией. Это позволит снять вопросы у проверяющих органов и, вероятно, пересмотреть позицию страхового клуба. Lanterna Shipping готова приобрести сорок девять процентов акций холдинга по справедливой рыночной цене. Управление остаётся за вами. Синьор Пароди подчёркивает: это не поглощение. Это спасение.

Он замолчал и чуть наклонил голову, прислушиваясь. Я видел, как дрогнуло его лицо, совсем немного, у глаз. Ему что-то сказали в наушник. Он кивнул сам себе и добавил ещё фразу.

– И синьор Пароди говорит, что его мать передаёт вам привет, – сказала Кристина. – Она очень уважает людей, которые строили своё дело руками.

Антон рядом со мной тихо выдохнул. Он умеет считать быстрее меня. Сорок девять процентов при нынешних проверках, с Байковым и с московскими аудиторами, через полгода превращаются в пятьдесят один, потому что меня либо посадят, либо отстранят, либо я сам уйду. Это не спасение. Это лестница, у которой первая ступенька выглядит как помощь.

– Скажите синьору Пароди, – сказал я Кристине, – что я благодарен за предложение и за привет. И что «Северная гавань» не продаётся. Ни сорок девять, ни один процент.

Кристина перевела. Аккуратно, ничего не смягчив, я проверил. Никколò выслушал, кивнул, как будто ответ его устроил. Снова прислушался к наушнику. На этот раз дольше. Секунд десять он сидел с полуулыбкой, глядя в окно на краны, и я смотрел, как у него медленно двигается челюсть. Он что-то отвечал. Беззвучно. Губами. Где-то далеко, за тысячи километров, в доме, которого я никогда не видел, кто-то сидел и говорил ему в ухо, и я почти физически чувствовал присутствие этого человека в переговорной.

Потом он сказал что-то юристу, тот собрал папку. Никколò поднялся, застегнул пиджак, протянул мне руку через стол. Рукопожатие было сухое, крепкое, короткое. Я тоже встал.

– Кристина, спасибо, – сказал он по-русски, с сильным акцентом, но правильно. – Вы можете идти. Дальше мы сами.

Кристина растерянно посмотрела на меня, потом на него, взяла блокнот и вышла. Юрист вышел за ней. Антон остался. Никколò посмотрел на Антона, потом на меня, понял, что Антон не выйдет, и, кажется, не удивился.

Дальше он говорил по-английски. Хорошим английским, без акцента, тем английским, которому учат в дорогих швейцарских школах.

– Mr. Raevsky, I'll be honest with you. My mother thinks you made a mistake. She's been doing this for forty years, and she rarely thinks people make mistakes. She usually thinks they make choices.

Я ничего не ответил. Он подождал, улыбнулся, как будто я пошутил.

– She asked me to tell you one more thing. Personally. – Он чуть понизил голос, хотя в переговорной, кроме нас троих, никого не было. – Mama says you have no friends in Genoa. But very soon you will have a relative there.

Он посмотрел мне в глаза. Впервые за всю встречу прямо в глаза, а не мимо, на краны. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, серые, неожиданные при таких тёмных волосах, и в них ничего не отражалось, ни окно, ни я.

Я выдержал. Я двадцать лет выдерживаю такие взгляды, это не трудно, если знаешь, что в этот момент ты не должен ничего чувствовать. Я ничего не чувствовал. Я думал про Шмелёва, который наклонился ко мне в кабинете СИЗО, и про то, что он сказал, и про лист под принтером.

– Give my regards to your mother, – сказал я.

– I will, – сказал Никколò. – She'll be pleased.

Он ушёл. Я видел из окна, как он садится в чёрную машину у проходной, блестящую под дождём, как Кристина стоит у ворот одна, с блокнотом, прижатым к груди, и не знает, что делать, и как юрист открывает ей заднюю дверь. Машина уехала, оставив на мокром асфальте две тёмные полосы, которые медленно затягивались водой.

Антон долго молчал.

– Какой родственник? – спросил он наконец.

– Не знаю.

– Марк.

– Я сказал, не знаю, – сказал я. – Иди посчитай, сколько мы теряем без итальянцев до конца года. По месяцам. К вечеру.

Он ушёл считать. Я остался в переговорной один и стоял у окна, пока не перестал видеть краны. Не потому, что стемнело, а потому, что смотрел и не видел.

Вере я позвонил в обед. Рассказал про визит, про сорок девять процентов, про переводчицу, которую поймал на «il russo». Она засмеялась, впервые за несколько дней, и сказала, что гордится мной, что это очень профессиональный слух и что она бы на месте Кристины сгорела со стыда. Её смех в трубке был тихий и удивлённый, как будто она сама не ожидала, что ещё умеет. Про «родственника» я ей не сказал. Я сказал себе, что не хочу её пугать.

Корсак пришёл в девятом часу вечера.

Я был ещё в кабинете под крышей, в элеваторе. Порт за стеклом горел жёлтыми огнями, дождь кончился, и мокрые причалы отражали прожекторы, так что казалось, будто каждый фонарь стоит над своим собственным маленьким озером света. Шла ночная разгрузка, первая за неделю, литовский балкер с удобрениями, по документам, которые мы проверили три раза. Корсак постучал, хотя дверь была открыта. Он стучит всегда, это у него с армии.

Он положил на стол папку. Тонкую, серую, обычную картонную. Три листа внутри, не больше. Положил и отошёл к окну, встал ко мне спиной, руки в карманах. Его силуэт на фоне освещённого порта казался вырезанным из чёрной бумаги.

Я посмотрел на папку.

В прошлом году у меня в сейфе лежала другая. Толстая, синяя, с её именем на корешке, собранная за два месяца. Там было всё, от её оценок в школе до того, сколько она платит за квартиру. Я её ни разу не открыл. Я брал её в руки, наверное, раз десять, держал и клал обратно. Мне казалось, что если я открою, я стану человеком, которому нельзя доверять. А в декабре я её сжёл. При ней, в камине. Она стояла рядом и смотрела, и я думал, что вот так это заканчивается.

– Это за пять дней, – сказал Корсак, не оборачиваясь. – С четверга.

Я открыл.

Четверг: квартира, весь день, никуда не выходила. Вечером такси в «Кнехт», сорок минут, вернулась с пакетом. Пятница: десять ноль-ноль, СИЗО №1, вместе со следователем Гореловой. Внутри сорок семь минут. Вышла одна, Горелова позже. Домой на трамвае. Суббота: квартира. Воскресенье: коса, со мной. Понедельник, сегодня: одиннадцать двадцать, отделение банка на Портовой. Двадцать пять минут. Сотрудница, с которой Корсак потом поговорил «как с соседкой», сказала, что девушка интересовалась, как можно получить доступ к банковской ячейке в Италии, если ключ есть, а владельца нет, и можно ли отправить запрос в итальянский банк от её имени. Ей дали форму. Она её заполнила и отправила при сотруднице. Банк назывался «Банка дель Порто», Генуя. Номер ячейки сотрудница не запомнила.

И последняя строчка. Понедельник, четырнадцать сорок, кафе у суда. Вера говорила по телефону минут десять, по-итальянски, но «не так, как обычно, как-то по-другому, нараспев». Корсак сидел за два столика от неё. Он услышал имя. Ассунта. И ещё слово, которое он записал, как услышал, русскими буквами: «гуальо». Потом он поднял дело Феррары, он его знает почти наизусть, и нашёл. Ассунта Феррара, вдова Луки. Неаполь. Номер телефона в деле совпадал с тем, который он видел на экране у Веры, когда она положила телефон на стол.

Я дочитал до конца. Потом перевернул третий лист, там ничего не было, чистая обратная сторона. Потом вернулся к первому и прочитал всё ещё раз, медленно, каждую строчку. Лампа на столе гудела. Внизу, в порту, лязгнул металл, и крановщик что-то крикнул в рацию, и голос его, искажённый, далёкий, прохрипел в динамике у меня на подоконнике и затих.

Пятница. СИЗО. Сорок семь минут. Вместе с Гореловой.

«Еду к Гореловой подписывать протоколы по пожару».

Она была у Шмелёва. За несколько часов до того, как он умер. Сорок семь минут она сидела с ним в том самом кабинете, где он за день до этого наклонился ко мне. И мне она сказала про протоколы. А в субботу утром позвонила ровным голосом и сказала, что ей сообщила Горелова.

– Ян, – сказал я.

– Да.

– Ты слышал, что она ему говорила? В кафе?

– Нет. Только имена. – Он повернулся от окна. Лицо у него было усталое и какое-то очень простое. – Марк Александрович, я вам скажу один раз. Я это делаю, потому что вы приказали. Мне это не нравится. Ей бы это тоже не понравилось.

– Я знаю.

– Тогда зачем вы это читаете?

Я не ответил. Я закрыл папку.

В тот раз я её не открыл, и мне потом казалось, что это была моя единственная заслуга во всей той истории. Что, может, всё остальное я сделал неправильно, но папку не открыл. Я этим держался. Я про это думал в камере, когда не мог спать и смотрел на квадрат окна под потолком, где по ночам иногда проходил луч прожектора с вышки.

В этот раз я прочитал всё. Дважды.

Глава 8

Rogatoria (ит.) – судебное поручение другому государству. От rogare, «просить». Единственный вид просьбы, в котором проситель не обязан говорить «пожалуйста». А. Л.

Ниже, карандашом: «Сальви и не сказала».

Ответ из Генуи пришёл во вторник утром, когда я ещё лежала в кровати и уговаривала себя встать. За круглым окном было серо и тихо, по стеклу медленно сползали капли, и в комнате пахло вчерашним чаем и бумагой. Письмо было на итальянском, вежливое, с логотипом банка в углу: маленькая каравелла и буквы BdP. Банка дель Порто подтверждала получение моего запроса и сообщала, что доступ к ячейке № 1147 возможен только лично, при предъявлении ключа и документа, удостоверяющего личность лица, указанного в договоре аренды как уполномоченное. Дальше шла фраза, которую я перечитала раза четыре, потому что сначала решила, что ошиблась в падеже.

Уполномоченным лицом в договоре, заключённом четырнадцатого ноября две тысячи одиннадцатого года, значилась Lisovskaya Vera Andreevna, с правом самостоятельного доступа по достижении совершеннолетия. Ниже банк вежливо уточнял, что к договору приложено нотариально заверенное согласие законного представителя и что оригинал этого согласия хранится в деле клиента.

Мне тогда было четырнадцать. Я в тот день сидела на физике и ждала магнит с маяком. Законный представитель у меня тогда был один. Я перечитала эту строчку ещё раз и решила, что подумаю о ней потом, потому что если думать о ней сейчас, я не встану с кровати.

Я встала, сварила кофе, выпила его стоя у окна, глядя, как по каналу плывёт одинокий катер, медленно, раздвигая носом серую воду, и поняла, что поеду в Геную. Не знаю как, не знаю когда, но поеду. Решение было какое-то совсем бытовое, как решают купить новый чайник, когда старый окончательно сломался. Дальше оставалось только придумать, на какие деньги и что сказать Марку.

Придумывать не пришлось. В одиннадцать позвонила Эльвира и сказала, чтобы я бросала всё и ехала в бюро.

Бюро Эльвиры занимает второй этаж старого дома на Ратушной, с лепниной на потолке и скрипучим паркетом, который Эльвира отказывается перестилать, потому что по скрипу слышит, кто идёт. Лестница туда узкая, с чугунными перилами, отполированными тысячами ладоней до блеска, и на площадке между этажами стоит фикус в кадке, которому, по слухам, больше лет, чем самой Эльвире. В кабинете пахло табаком, старыми книгами и кофе, высокие окна выходили на площадь, и по стеклу бежали дождевые ручейки, искажая очертания ратуши напротив. Эльвира сидела за своим огромным столом, заваленным папками, и держала в руках пачку листов, скреплённых степлером. Сверху была шапка на итальянском и русском, герб Итальянской Республики и много печатей.

– Садись, – сказала она. – Читай. Мне это из прокуратуры переслали в семь утра, с пометкой «срочно», и я уже час сижу и понимаю каждое третье слово. Перевод у них прилагается, но переводил, по-моему, тот же человек, который в прошлом году переводил мне инструкцию к кофемашине.

Я взяла листы.

Это было международное поручение. Direzione Distrettuale Antimafia, Генуя, Procura della Repubblica. Магистрат Беатриче Сальви, sostituto procuratore, просила российскую сторону о правовой помощи в рамках уголовного дела о преступном сообществе, занимающемся контрабандой через порты Лигурии и Балтийского моря. Конкретно она просила две вещи. Первое: материалы по убийству Виктора Лапина на причале № 7 порта Зеград, включая показания свидетелей и данные видеофиксации. Второе: содействия в приезде в Геную специалиста,

проводившего экспертизу фонограммы допроса Луки Феррары, для участия в процессуальных действиях и консультаций по вопросам идентификации голоса. Расходы итальянская сторона брала на себя.

Фамилия специалиста была указана. Моя. С правильным ударением в транскрипции, что меня почему-то задело больше всего.

Язык у поручения был сухой, точный, без единого лишнего слова. Так пишут люди, которые не любят, когда их переспрашивают. В конце стояла подпись, мелкая, наклонная, и я подумала, что Сальви, наверное, левша, потому что левши так пишут, когда торопятся.

– Ну? – спросила Эльвира.

Я перевела ей вслух, целиком, медленно. Она слушала, крутя зажигалку, и только на словах «идентификации голоса» перестала крутить.

– Они хотят, чтобы ты сказала то, чего не сказала у нас, – сказала она, когда я закончила.

– Может быть.

– Не «может быть». – Эльвира положила зажигалку на стол. – Вера, я двадцать пять лет читаю такие бумажки. У них есть дело против кого-то в Генуе. Им нужен этот голос. Ты в суде сказала, что установить личность невозможно без образцов. А у них, может, образцы есть. Или они думают, что ты знаешь больше, чем написала. И они правы?

Я ничего не ответила. Она посмотрела на меня поверх очков долго, секунд десять, и я выдержала, хотя это было трудно, потому что Эльвира смотрит не так, как Марк. Марк смотрит, чтобы понять. Эльвира смотрит, чтобы ты сама поняла, что она уже поняла.

– Ладно, – сказала она. – Не моё дело, пока ты мне за него не платишь. Слушай меня внимательно. Это ловушка или шанс. Обычно и то, и другое. Тебя зовут туда, где тебя никто не знает и где тебя некому прикрыть. И одновременно тебя зовут туда, где, может быть, лежит то, что ты ищешь. Я не знаю, что ты ищешь. Ты, я вижу, знаешь.

– Я хочу поехать.

– Я вижу, что хочешь. – Эльвира вздохнула. – А Раевский?

– Это моя работа, Эльвира Давидовна. Меня приглашают как специалиста.

– Ох, детка, – сказала Эльвира. – Ты сейчас говоришь, как он в октябре. «Это мой бизнес, это мои решения». Я этот тон знаю.

Я встала. Мне вдруг стало очень душно в этом кабинете с лепниной, с запахом табака и старых книг, с дождём, текущим по стёклам.

– Ответьте, что я согласна.

Эльвира посмотрела на меня снизу вверх и, кажется, хотела сказать что-то ещё. Потом взяла ручку.

– Отвечу, что ты согласна, – сказала она. – Через прокуратуру, официально, всё как положено. И ещё дам тебе телефон одного генуэзского адвоката, мы с ним когда-то вместе судились против одной греческой компании и оба проиграли. Это сближает. Позвонишь, если что.

Я вышла на Ратушную и долго стояла на крыльце. Шёл мелкий дождь, тёплый уже, апрельский, совсем не такой, как мартовский снег, и пахло мокрым камнем и почками, которые набухли на старых липах вдоль площади. У тротуара кто-то пытался припарковаться задом и не мог, ему сигналили. Голуби сидели под карнизом ратуши, распушившись, и смотрели на дождь с одинаковым недовольным выражением. Я думала о том, что впервые в жизни решила что-то важное, не дожидаясь, пока кто-нибудь скажет мне, что так можно. Ни мама, ни дядя Олег, ни Эльвира, ни Марк. И что мне от этого не легче, а страшнее.

Потом я позвонила маме. Она не взяла трубку. Через десять минут пришло сообщение: «Занята, совещание. Позвоню вечером». Она не позвонила. Я так и не спросила её, что она получала каждое первое число.

Марку я сказала вечером, у себя, на кухне. Он пришёл с Бруно и с пакетом мандаринов, которые где-то нашёл, несмотря на апрель, мелких, кисловатых, с тонкой кожурой, и мы сидели

за моим маленьким столом, где он едва помещался, и чистили их, и кухня наполнилась этим запахом, острым, новогодним, совсем не весенним, и Бруно у нас под ногами ловил шкурки.

Я рассказала про поручение. Про DDA, про магистрата Сальви, про причал № 7 и экспертизу. Сказала, что меня приглашают как специалиста, что всё официально, через прокуратуру, что расходы оплачивают итальянцы и что это, вообще-то, большая честь для независимого эксперта из Зееграда. Я говорила спокойно, по порядку, и всё это было правдой. Про банк я не сказала. Про ячейку, про уполномоченное лицо, про ключ, который лежал в коробке под академическим словарём в полуметре от его ботинка, не сказала. Про голос не сказала тоже.

Он слушал, не перебивая, отрывая дольки по одной. Когда я замолчала, он положил очищенный мандарин на тарелку и долго на него смотрел.

– Когда? – спросил он.

– Через неделю. Может, чуть позже, пока оформят.

– Надолго?

– Не знаю. Неделю, две. Сколько понадобится.

Он кивнул. Потом поднял на меня глаза, и я ждала, что он сейчас скажет «нет», или «опасно», или «я подумаю, как это устроить», и я уже приготовила ответ, длинный, с аргументами, про профессию, про независимость, про то, что я не его сотрудник. Я его даже немного отрепетировала в трамвае, глядя на своё отражение в мокром стекле.

– Я тоже лечу, – сказал Марк.

– Что?

– У меня в Генуе страховой клуб. Тот самый, который мне с мая всё перекрыл. Я всё равно собирался к ним ехать, разговаривать лично. Антон говорит, по почте они со мной разговаривать не будут, а глаза в глаза, может быть. – Он взял мандарин с тарелки и протянул мне. – Значит, полетим вместе. Это удобно.

Я взяла мандарин. Я не знала, что сказать. Он не спорил, не запрещал, не спрашивал. Он просто нашёл, как оказаться рядом. Это было так на него похоже и так не похоже на то, что я ждала, что я на секунду растерялась.

Потом я подумала про Сальви, про банк, про номер на +39, который знал, где я живу. И про то, как Марк умеет решать вопросы. И про Корсака, который в Генуе за сутки найдёт всё, что я буду искать неделю, и найдёт раньше меня.

– Хорошо, – сказала я. – Но у меня условие.

– Слушаю.

– Ты едешь как жених. Не как хозяин. – Я положила мандарин обратно на тарелку. – Это моя работа, Марк. Меня туда зовут как специалиста. Ты не решаешь мои вопросы, не звонишь своим людям, не договариваешься ни с кем за моей спиной. Ты летишь к своим страховщикам, а вечером мы ужинаем. И без Корсака.

Он чуть помолчал. Совсем немного, секунды две. Я считала.

– Без Корсака, – сказал он.

– Обещаешь?

– Обещаю.

Он сказал это спокойно и сразу, и это меня почему-то не успокоило, а наоборот. Раньше на слово «без Корсака» он бы как минимум поднял бровь. Я списала это на то, что он изменился. Мне хотелось так думать. Мы оба последнее время много на что списывали.

Бруно выбрался из-под стола, положил морду Марку на колено и посмотрел на мандарины. Марк дал ему дольку. Бруно её выплюнул на пол с таким видом, будто его отравили, и мы оба засмеялись, и на секунду всё стало, как в январе, когда за окном шёл снег, а мы сидели на этой же кухне, и мне казалось, что больше ничего плохого случиться не может.

Неделя ушла на бумаги. Прокуратура, министерство, визы, которые Сальви, судя по всему, выбила каким-то своим способом, потому что нам их поставили за три дня, хотя обычно

ставят месяц. Я каждый вечер собирала чемодан и разбирала обратно. Положила тетрадь «Генуя – Неаполь». Вынула. Положила снова. Ключ от ячейки я завернула в носовой платок и сунула во внутренний карман сумки, который теперь всегда застёгивала. Вырванную страницу сфотографировала и оставила в тетради. Записку взяла с собой. Я не знала зачем. Просто не могла её оставить.

Медальон Луки тоже положила. Маленький, серебряный, с Мадонной, его отдал мне в декабре Корсак, сказал, что нашёл его на причале, когда всё закончилось. Я тогда пообещала себе, что отвезу его в Неаполь, вдове. Позвонила ей в понедельник из кафе у суда, номер был в деле. Ассунта сначала долго молчала, а потом заплакала и сказала, что будет ждать. Говорили мы на неаполитанском, вернее, она на неаполитанском, а я как могла, и она один раз даже засмеялась над моим «guaglió». Это был лучший разговор за весь март.

Даша звонила дважды, спрашивала, когда улетаю. Я сказала. Она сказала: «Ага» – и почему-то повесила трубку очень быстро.

Аэропорт в Зееграде маленький, одно здание из стекла, похожее на аквариум, и в нём всегда пахнет кофе из автомата и мокрой одеждой. Утро было туманное, такое, что с парковки не было видно взлётной полосы, только огни, жёлтые и синие, расплывались в серой мгле, и где-то в ней невидимо гудел двигатель. Туман лежал на всём, на машинах, на стеклянных стенах терминала, на наших плечах, и казалось, что весь мир сжался до нескольких метров вокруг. Марк вёз чемоданы на тележке, колёсико у неё заедало и повизгивало, я шла рядом с сумкой на плече и проверяла рукой карман, где был ключ. Бруно остался на «Маяке» с Антоном и дедом Саввой, прощание с ним было накануне, и я до сих пор не могла про него думать без кома в горле.

У стойки регистрации была очередь, человек двадцать. Командировочные с портфелями, пара пенсионеров с огромными сумками, семья с двумя детьми, которые бегали вокруг тележки. Мы встали в конец. Марк молчал и смотрел на табло. Я смотрела по сторонам, по привычке, просто смотрела, кто вокруг.

Через два ряда, за ограждением соседней стойки, стоял Корсак.

В тёмной куртке, с маленьким рюкзаком за спиной и с книжкой в руках. Книжка была ярко-жёлтая, тонкая, с картинкой Колизея на обложке, и среди серых курток и чёрных чемоданов она светилась. Я разглядела название, большие буквы: «Итальянский. Разговорник для путешественников». Корсак держал его обеими руками, очень серьёзно, и шевелил губами. Он меня не видел. Или делал вид, что не видит, у Корсака это одно и то же.

Я повернулась к Марку. Марк смотрел на табло.

– Марк, – сказала я.

Он не успел ответить.

– Вера! Вера! Сюда!

С другой стороны зала, от входа, махала рукой Даша. В ярко-красном пуховике, с огромным рюкзаком, с камерой на шее и с картонным стаканом кофе, из которого на ходу выплёскивалось. За её спиной автоматические двери разъехались, и в зал вполз клочок тумана, белый, медленный, и растаял у её ног. Она пробиралась к нам через очередь, извиняясь на каждом шагу и задевая всех рюкзаком.

– Командировка! – крикнула она, ещё не добравшись. – Мне редакция одобрила! Мы расследуем Lanterna! Ты же не думала, что я тебя одну отпущу в Италию с этим?

Она кивнула на Марка. Марк посмотрел на неё, потом медленно, очень медленно, перевёл взгляд через два ряда, туда, где Корсак со всей серьёзностью перелистывал жёлтый разговорник на странице «В ресторане».

Я тоже посмотрела туда. И тоже медленно.

Глава 9

Intraducibile (ит.) – непереводимое. Обычно так говорят ленивые переводчики. Непереводимых слов почти нет. Есть слова, за перевод которых потом придётся отвечать. А. Л.

Ниже, карандашом: «Раньше я подчёркивала это двумя чертами».

Она смотрела на меня, и я видел, что она ждёт. Не крика, не оправданий. Она ждала, что я сейчас скажу что-то такое, после чего всё опять встанет на место. Вокруг нас шумел зал, кто-то катил чемодан, дети носились вокруг тележки, динамик под потолком бормотал что-то про рейс на Москву, а мы стояли в этом шуме, и звук до нас доходил приглушённо, будто через воду. Даша стояла рядом с картонным стаканом, переводила глаза с неё на меня, потом на Корсака, и до неё, кажется, начало доходить, что она пришла не вовремя.

– Без Корсака, – сказала Вера тихо. Даже не вопросом.

Можно было соврать. Сказать, что он в отпуске, что давно хотел в Италию, что купил билет сам. Корсак бы подтвердил, он бы подтвердил что угодно. Я посмотрел на него через два ряда. Он опустил разговорник и смотрел на меня так же, как тогда на крыльце: ровно, без упрёка, ожидая, что я сейчас сделаю.

– Он летит, потому что я не могу иначе, – сказал я. – Будет жить в другой гостинице. К тебе не подойдёт. Ни во что не полезет.

– Ты обещал.

– Я обещал, что он не будет решать твои вопросы. Он и не будет.

Это была правда. Каждое слово. И я слышал, как это звучит, и Вера слышала, и мы оба знали, что так отвечают юристы, а не женихи. Она чуть прищурилась. Я ждал, что она сейчас развернётся и уйдёт к выходу, и не знал, что буду делать, если она уйдёт.

Она не ушла. Она посмотрела на Корсака, долго, и Корсак, к его чести, не отвёл глаз. Потом она посмотрела на Дашу.

– А ты, значит, тоже не можешь иначе, – сказала она.

– Я журналист, – сказала Даша. – Нам вообще ничего нельзя иначе. – И, подумав, добавила: – Кофе хочешь?

В этот момент над стойками ожило табло. Строчка с Генуей, через пересадку, мигнула и стала красной. Динамик под потолком откашлялся и сообщил женским голосом, что в связи с метеоусловиями в аэропорту Зееград все утренние вылеты отменяются, пассажиров просят обратиться к представителям авиакомпании. Очередь вокруг нас хором вздохнула. Пенсионер с огромной сумкой сказал что-то про наш климат, что я тоже не стану повторять.

Я посмотрел в стеклянную стену. Туман лежал на поле так плотно, что не было видно даже самолётов у терминала. Только где-то в глубине серого, далеко, мигал красный огонь на крыле, медленно, равнодушно.

– Завтра, – сказал представитель авиакомпании, молодой и очень уставший, когда мы до него добрались. – Завтра в то же время. Если развиднеется.

Обратно ехали все вместе. Так вышло. Корсак сел за руль, потому что больше было некому, Вера села назад, я рядом с ней, Даша вперёд, потому что её такси уехало, а другое обещали через час. Туман за окнами был такой густой, что фары упирались в него, и мы ехали медленно, сорок километров в час, и встречные машины выплывали из серого внезапно, двумя жёлтыми пятнами, и так же внезапно исчезали. Сорок минут до косы Даша говорила. Про Lanterna, про то, что редакция наскребла ей денег на неделю, про то, что она уже нашла в Генуе каких-то журналистов, которые пишут про порт, и что один из них ответил ей по-английски с ошибками, и это хороший знак. Корсак молчал. Я молчал. Вера смотрела в окно, где не было ничего, кроме тумана и иногда чёрных стволов сосен, проступавших из него и снова тонувших.

Где-то на середине пути Даша наконец замолчала тоже, обернулась, посмотрела на нас троих и сказала:

– Я, кажется, всё испортила.

– Нет, – сказала Вера. – Не ты.

Больше до «Маяка» никто ничего не сказал.

Бруно встретил нас у ворот. Он стоял рядом с дедом Саввой, который вышел на звук мотора в ватнике и в тапках, и когда Вера вылезла из машины, Бруно сделал к ней два шага и остановился. Он с ней попрощался вчера вечером. Она сидела с ним на полу в гостиной почти час, чесала ему уши, говорила что-то по-итальянски, а он лежал, положив голову ей на колени, и вздыхал так, что у меня внутри что-то сжималось. А теперь она вернулась. Он посмотрел на неё, на чемодан, который Корсак доставал из багажника, снова на неё. Потом развернулся и ушёл в дом. Медленно, не оглядываясь.

– Обиделся, – сказал Савва. – Ты, Верка, с ним попрощалась, а сама не уехала. Это нечестно. Он, может, всю ночь готовился скучать.

Даша засмеялась. Вера тоже, но как-то криво.

Вечером он лёг на её чемодан. Чемодан стоял у лестницы, собранный, на колёсиках, и Бруно сначала лёг рядом, а потом, когда думал, что никто не видит, аккуратно забрался на него целиком. Чемодан был маленький, а Бруно нет. Он свисал с него со всех сторон, как тесто с противня, но лежал с очень серьёзной мордой и не шевелился. В камине трещали дрова, и отблески огня ходили по его чёрной шерсти, по стенам, по стеклу гостиной, за которым стоял туман, и в этом стекле отражалась вся комната, тёплая, жёлтая, с людьми и собакой, висящая в серой пустоте.

– Ты посмотри на него, – сказал Савва. Он остался на ужин, потому что Антон приехал только к восьми, а без него Савва ехать отказывался. Он теперь будет жить на «Маяке», пока нас нет, кормить Бруно и, как он выразился, «сторожить от твоих бандитов, Марик, а то мало ли». – Он умнее вас всех. Чемодан не отдаст.

– Бруно, – сказал я. – Scendi.

Это значит «слезай». Вера меня научила. Бруно повернул голову, посмотрел на меня и отвернулся. Я сказал ещё раз, поостроже. Он вздохнул и закрыл глаза.

– Ударение, – сказала Вера из кухни, не оборачиваясь. – Ты опять говоришь как на погрузке. Он думает, ты ругаешься. – Она вытерла руки, подошла, присела перед чемоданом на корточки и сказала совсем тихо: – Bruno. Vieni qua.

Он открыл глаза, полежал ещё секунду для приличия, потом сполз с чемодана и положил ей голову на колени. Она гладила его, а он смотрел на меня поверх её руки, и вид у него был такой, будто это он меня победил в споре.

– Он с тобой каждый вечер будет по видео разговаривать, – сказал Савва. – Я научился. Антон мне показал, где кнопка. Ты только звони, Верка. Он тебя слушается, а меня нет. Меня в этом доме вообще никто не слушается, даже чайник.

– Буду звонить, – сказала Вера. – Каждый вечер.

– И Марику тоже звони, – сказал Савва и посмотрел на меня. – Он тебя тоже, наверное, слушается. Хоть иногда.

Антон уехал в одиннадцатом часу и увёз Дашу в город. Корсак уехал ещё раньше, сказал, что заберёт нас в шесть. Савва ушёл спать в гостевую, долго гремел там чем-то, ругал диван, потом затих. Огонь в камине прогорел, угли тлели красным, и по гостиной медленно расплзалась темнота. Бруно остался у лестницы, рядом с чемоданом, и, кажется, не собирался оттуда уходить всю ночь.

Мы поднялись наверх, в комнату в башне.

Это была её комната, когда она здесь жила, в ноябре и в декабре. Потом она переехала к себе на канал, а комната так и осталась её, никто в ней не жил, я туда даже заходил редко.

Здесь было холоднее, чем внизу, старый кирпич всегда держит холод, и стены пахли сыростью и немного морем. Узкая кровать с белым бельём. Стул. Круглое окно смотрело на залив. В тумане ничего не было видно, только маяк на соседнем мысу мигал раз в шесть секунд, жёлтым пятном, как будто кто-то за стеной включал и выключал фонарик.

Вера стояла у окна спиной ко мне. На ней был свитер, мой, серый, который она забрала в январе и больше не отдавала. Рукава закрывали ей пальцы. В круглом стекле я видел её отражение, бледное, размытое туманом с той стороны, и своё, тёмное, большое, за её плечом.

Я подошёл и встал сзади. Не обнял. Просто встал близко, так, чтобы она чувствовала, что я здесь.

– Ты злишься, – сказал я.

– Немного.

– Он правда к тебе не подойдёт.

– Я знаю. – Она помолчала. – Это хуже, Марк. Если бы подходил, я бы хоть видела.

Я ничего не ответил. Мне нечего было ответить. Маяк на мысу мигнул. Вера, я знал, считала про себя до шести, она всегда считает. Я не считал. Я стоял и чувствовал то, что чувствуешь в кабине крана за секунду до того, как груз начнёт раскачиваться: ещё ничего не видно, а трос уже пошёл.

Потом она повернулась. Посмотрела на меня снизу, близко, серьёзно, и положила ладонь мне на грудь, левую, с тем шрамом от оконной рамы. Я знаю этот шрам наизусть, бледная полоса через всю ладонь, чуть наискосок. Я его целовал в январе, когда она первый раз позволила.

– Я не хочу сегодня ругаться, – сказала она. – Завтра улетаем. Можно я сегодня просто не буду?

– Можно.

– А ты?

– Я и не собирался.

Она чуть улыбнулась, совсем немного, уголком рта. Потом поднялась на носки и поцеловала меня. Медленно, без спешки, как целуют, когда точно знают, что никто не помешает и ничего не надо доказывать.

Раньше, в январе и в феврале, у нас всё было по-другому. Быстро, жадно, как у людей, которые долго чего-то ждали и не верят, что дождались. Сейчас было иначе. Она стягивала с меня свитер и смеялась, потому что он зацепился за часы. Я расстёгивал её джинсы, и пуговица была тугая, и она отвела мою руку и расстегнула сама, и сказала: «Ты бы ещё зубами попробовал». Было холодно. Мы оба покрылись мурашками, пока добрались до кровати, и она сразу залезла под одеяло и потянула меня за собой, и сказала, что в этой башне даже летом можно хранить рыбу.

Под одеялом стало тепло почти сразу. Тепло от неё, от её кожи, от дыхания, и холод комнаты остался снаружи, за краем одеяла.

– Можно? – спросил я, когда она легла на спину и смотрела на меня снизу.

Я всегда спрашиваю. С самого первого раза. Она тогда засмеялась и сказала, что я, наверное, единственный бандит в истории, который спрашивает разрешения. Потом перестала смеяться, когда поняла, что я спрашиваю всерьёз.

– Можно, – сказала она. – Только медленно. Я хочу запомнить.

Я не стал спрашивать, зачем запоминать. Мы ведь не расстаёмся. Мы вместе летим. Но она сказала «запомнить», и я понял, что она тоже это чувствует. Что-то, что лежит между нами и чему нет названия.

Я делал медленно. Целовал её шею, ключицы, место под ухом, где у неё бьётся жилка и где она всегда вздрагивает. Она запускала пальцы мне в волосы и держала, не давая отстраниться. У неё были холодные ноги, она прижала их к моим, я вздрогнул, она засмеялась мне в плечо.

Потом перестала смеяться. Дышала часто и неровно, и смотрела на меня, не закрывая глаз, как будто правда хотела запомнить, как я выгляжу. Я тоже смотрел. На её лицо в полутьме, на отросшие волосы, разметавшиеся по подушке тёмными прядями, на то, как она закусывает губу, когда старается не шуметь, потому что внизу Савва.

Маяк мигал в окне. Раз в шесть секунд её лицо становилось на мгновение жёлтым, тёплым, будто его освещала свеча, потом снова серым, туманным, далёким. Я видел это и думал, что тоже запомню.

И всё это время, всё это долгое время, пока она двигалась подо мной, пока шептала моё имя, пока впивалась пальцами мне в спину, у меня в голове лежали три серых листа. Пятница, СИЗО, сорок семь минут. Банк на Портовой. Ассунта. Я знал, где она была и что сказала мне вместо этого. А она не знала, что я знаю. И не знала, откуда.

Это было не как в ноябре, когда я молчал про пожар. Тогда я молчал и считал. Сейчас я ничего не считал. Я просто знал и не говорил. И она знала что-то и не говорила. И мы лежали, прижавшись друг к другу так, что между нами не прошёл бы лист бумаги, а между нами всё равно лежало что-то. Я не знал, как это назвать. Ни по-русски, ни по-итальянски. Вера бы, наверное, нашла слово. Но спросить её я не мог.

Когда всё закончилось, она долго лежала у меня на груди и молчала. Дышала уже ровно. Я гладил её по спине, по позвонкам, медленно сверху вниз, так, как когда-то проверял ладонью трос перед подъёмом, медленно, на ощупь: нет ли где обрыва, торчащей пряди. Обрыва не было. Было что-то другое, чего ладонь не находила.

– Марк, – сказала она тихо.

– М?

– Ничего. Просто.

Я подождал. Она ничего не добавила.

Я хотел спросить. У меня даже фраза была готова, я её придумал ещё на обратном пути из аэропорта, глядя Корсаку в затылок. Простая фраза: «Вер, ты была у Шмелёва в пятницу?» Короткая, без зазоров. Я проверил её со всех сторон, как проверяют строп перед подъёмом. Если она скажет «да», я скажу, откуда знаю. Если скажет «нет», я... Дальше я не придумал. Дальше начинался вопрос, на который у меня не было ответа: что я сделаю, если она мне соврёт, глядя в глаза.

Я открыл рот.

– Ты знаешь, что у тебя на спине три родинки, как Орион? – сказала Вера сонно. – Я в январе заметила. Пояс Ориона. Три в ряд.

– Не знал.

– Теперь знаешь.

Она зевнула, потёрлась щекой о моё плечо и затихла. Я закрыл рот. Фраза из восьми слов так и осталась у меня в голове. Я подумал, что спрошу утром. Или в самолёте. Или в Генуе, за ужином. Я подумал, что если она сама не скажет до Генуи, я спрошу обязательно. Я знал, что так думают люди, которые не спросят никогда.

Она уснула минут через десять. Я лежал на спине и смотрел в потолок, где раз в шесть секунд появлялось жёлтое пятно от маяка и медленно гасло, растекаясь по старым кирпичам. Внизу, на лестнице, Бруно тяжело вздохнул во сне и что-то проворчал. Савва в гостевой храпел, ровно, басом. В трубах что-то булькнуло и затихло. Где-то далеко за дюнами, невидимое, шумело море, и этот звук был таким постоянным, что его переставали слышать.

Около трёх она заговорила.

Я сначала не понял, что это она. Подумал, что-то за окном. Она лежала на боку, спиной ко мне, лицом к круглому окну, и говорила совсем тихо, неразборчиво, во сне так говорят, не размыкая губ до конца. Потом громче.

– Parà, – сказала Вера. – Non ancora.

И ещё что-то, уже совсем невнятное. Вздохнула и затихла.

Год назад я бы не понял. Год назад для меня все итальянские слова звучали одинаково, как шум в порту, когда разгружается итальянское судно и экипаж кричит друг другу через палубу. Я бы подумал, что ей что-то снится по работе, и уснул бы.

Но полгода, каждый вечер, после ужина, она садилась напротив меня за длинный стол на кухне, или ложилась рядом в постели, и учила меня. Сначала цифры. Потом дни недели. Потом то, что она называла «выживательным минимумом», и то, что она называла «минимумом для меня», и это были разные списки. Она смеялась над моим акцентом и заставляла повторять. И одно из первых слов, которое она меня научила, ещё в январе, было «ансога». Ещё. Она сказала его мне ночью, на этой самой кровати, когда я собрался встать: «Ансога un po'». Ещё немного. Останься ещё немного. И потом объяснила, что «ансога» – это и «ещё», и «уже», и «пока», смотря как поставить, и что «non ансога» – это «ещё нет». Не сейчас. Рано. Подожди.

«Папа, ещё нет».

Я лежал и смотрел ей в затылок, на тёмные волосы на белой подушке, на плечо, выглянувшее из-под одеяла, бледное в темноте. Я понимал каждое слово. И не понимал ничего.

Маяк на мысу мигал. Я лежал и думал так, как думаю, когда на причале что-то пошло не так: где точка опоры, куда уйдёт вес, что сорвётся первым. Ответа не было. Я лежал до тех пор, пока окно не начало сереть и туман за ним не стал из чёрного серым, а потом молочным, и внизу не завозился Бруно, которому пора было на улицу.

Глава 10

Punto di non ritorno (ит.) – точка невозврата. Слово лётчиков: после этой точки топлива уже не хватит, чтобы вернуться на аэродром вылета. У синхронистов это момент, когда ты начал фразу и поменять её смысл можно только враньём. А. Л.

Ниже, карандашом: «Я начала эту фразу в понедельник, в зале №3».

Утром туман не ушёл. Он стоял за окнами белой стеной, неподвижной, плотной, и казалось, что «Маяк» за ночь отплыл от берега и теперь висит где-то посреди пустоты, где нет ни залива, ни сосен, ни города. Корсак приехал ровно в шесть, постоял у ворот, посмотрел на небо, которого не было видно, и сказал, что аэропорт закрыт до обеда, а там как повезёт. Даша прислала сообщение из трёх слов: «Опять. Ненавижу Балтику». Марк сварил кофе и долго стоял у окна с чашкой, не отпивая.

Он ничего не спросил. Ни утром, ни за завтраком, ни когда я вышла с Бруно на дюны и вернулась с мокрыми по колено джинсами. На дюнах в тумане всё было беззвучным и одинаковым, сосны возникали и пропадали, песок под ногами был тяжёлый от влаги, и Бруно бегал вокруг меня кругами, то пропадая в белом, то выныривая из него чёрным пятном, как будто проверял, на месте ли я. Я думала, что после ночи Марк спросит. Мне показалось, что он хотел, ещё ночью, когда я лежала у него на груди и он гладил меня по спине и вдруг перестал гладить, как будто собрался что-то сказать. Я тогда заговорила про родинки. Специально. Я это поняла только утром, когда чистила зубы и смотрела на себя в зеркало, и мне стало неприятно от того, как это ловко у меня вышло.

Бруно второй раз прощаться не стал. Он лежал у камина, отвернувшись к стене, и делал вид, что спит. Когда я подошла и присела рядом, он приоткрыл один глаз, посмотрел на меня и закрыл обратно. Савва сказал, что это у него характер, весь в хозяина, и что Марик в детстве тоже так обижался, неделями.

– Я не обижался неделями, – сказал Марк из кухни.

– Обижался, – сказал Савва. – Когда отец тебе велосипед не купил. Месяц ни с кем не разговаривал.

– Это была не обида. Это была позиция.

Бруно на этих словах тяжело вздохнул, и мы все трое засмеялись.

В одиннадцать позвонила Горелова. В воскресенье, после смерти Шмелёва, я сама ей звонила и просила об одном: спросить Кравца, слышал ли он когда-нибудь в кабинете Шмелёва итальянскую речь и кто её переводил. Это был единственный вопрос, который я могла задать, не объясняя, зачем он мне. Горелова тогда помолчала и сказала, что попробует. Сейчас она сказала, что знает про отменённый рейс, что у неё есть ответ и что она подъедет в аэропорт к трём, если мы будем там. По телефону она не хотела. Голос у неё был такой же, как в то утро, когда она звонила про Шмелёва. Без интонаций.

В аэропорт мы приехали к двум. Туман к этому времени стал реже, через стекло было видно край полосы и два самолёта у терминала, мокрых, блестящих, с каплями на фюзеляжах, и как будто тоже уставших ждать. Табло показывало наш рейс как «задерживается» и время вылета 18:40. В зале былолюдно и душно, пахло кофе из автомата и чьими-то пирожками. Даша уже сидела в кафе на втором этаже с ноутбуком и тремя пустыми стаканами. Корсак стоял у колонны неподалёку и читал свой жёлтый разговорник. Он был, по-моему, уже на главе «В аптеке».

Марк сказал, что пойдёт позвонит Антону, и отошёл к окну. Я видела, что он отошёл, чтобы оставить меня с Гореловой одну. Я не просила. Он сам.

Горелова пришла в начале четвёртого, в той же тёмной куртке, с мокрыми волосами, к которым прилипли мелкие капли тумана, как роса к траве. Взяла себе чай, мне ещё кофе, хотя

я не просила, и села напротив за маленький столик у перил. Внизу под нами шла очередь на регистрацию, кто-то спорил с девушкой за стойкой про лишний килограмм.

– Вы просили спросить Кравца про итальянцев, – сказала Горелова. – Я спросила. Вчера вечером. И он заговорил.

Я поставила стакан.

– После Шмелёва он напуган до смерти, – продолжала она тихо, глядя в чай. – Он же понимает, что если Шмелёва достали в СИЗО, то его достанут тем более. Он мне три часа рассказывал. Без адвоката, сам отказался. Сказал, что адвокаты в этом городе все чьи-то. Я его понимаю.

– Что он сказал?

Горелова подняла на меня глаза.

– Вера Андреевна, это материалы дела. – Она помолчала. – Я вам это говорю, потому что вы через три часа будете в самолёте, а через сутки в Генуе, и я хочу, чтобы вы там знали, с кем имеете дело.

Она рассказала. Негромко, по порядку, как привыкла на допросах.

Поджог на Каштановой заказывали двое. Шмелёв, это мы знали и раньше. И итальянцы. Кравец сам с ними напрямую не общался, ему всё передавал Шмелёв, но один раз, в начале октября, он был у Шмелёва в кабинете, когда тому позвонили по громкой связи. Говорили по-итальянски, переводчик переводил на русский. Кравец запомнил фразу, потому что она его удивила. Итальянцы хотели, чтобы «девчонка исчезла». Не «чтобы её посадили». Не «чтобы её дискредитировали». Именно исчезла. Насовсем.

– А потом, – сказала Горелова, – Кравец говорит, переводчик сказал что-то от себя. Шмелёву, по-русски, быстро, почти шёпотом. Кравец не всё расслышал. Расслышал «не трогайте её» и «я вас прошу». И Шмелёв ему ответил: «Андрей, это не я решаю». – Горелова допила чай. – Он запомнил имя, потому что Шмелёв потом весь вечер был злой и дважды повторял его вслух.

Я сидела и смотрела вниз, на очередь. Мужчина, который спорил про лишний килограмм, наконец сдался, открыл чемодан прямо на полу и стал перекладывать вещи в рюкзак. Вокруг него обходили. Свитер, носки, какая-то банка, завёрнутая в газету, и всё это лежало на сером полу аэропорта, жалкое, домашнее, выставленное на всеобщее обозрение.

Значит, в начале октября папа был на связи. Значит, он переводил тот разговор, где решали, что со мной сделать. Сидел где-то в Генуе, с наушником в ухе, и переводил, как его хозяева хотят, чтобы я исчезла. Ровным голосом, профессионально, так, чтобы Шмелёв всё понял правильно. А потом сказал от себя: не трогайте её. Я вас прошу.

И они всё равно подожгли. И Шмелёв сказал ему: «Это не я решаю». И через две недели папа надиктовал фальшивку с голосом Луки. Ту самую, из-за которой меня объявили в розыск.

– Вера Андреевна, – сказала Горелова. – Вы понимаете, о ком это?

– Понимаю.

– Я не буду спрашивать, давно ли вы знаете, – сказала она. – Не моё дело. Пока. – Она надела куртку. – Но я хочу, чтобы вы понимали. Он мог вас спасти. А мог просто торговаться. Иногда люди просят «не трогайте» не потому, что любят, а потому, что знают: если тронут, они потеряют то, что держит их на поводке. И то, и другое может быть правдой. У меня такое было, с одним свидетелем по наркотикам, давно. Он просил не трогать свою дочь. А потом сам её продал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.